

М а р к
С т е й н б е р г

ПРОЛЕТАРСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Личность, модернизм,
сакральное в России,
1910–1925



Современная
западная русистика

История

«Современная западная русистика» /
«Contemporary Western Rusistika»

Марк Стейнберг

**Пролетарское воображение.
Личность, модерность,
сакральное в России, 1910–1925**

«Библиороссика»

2002

УДК 82:316.3
ББК 83.3(2Рос=Рус)

Стейнберг М. Д.

Пролетарское воображение. Личность, модернность, сакральное в России, 1910–1925 / М. Д. Стейнберг — «Библиороссика», 2002 — («Современная западная русистика» / «Contemporary Western Rusistika»)

ISBN 978-5-907532-06-9

В своей книге исследователь русской революции и русского утопизма Марк Стейнберг обращается к творчеству пролетарских поэтов и писателей. По мнению автора, стихи и прозаические тексты выходцев из рабочего класса часто не соответствовали тому, чего ожидали от них представители левой интеллигенции, но тщательно препарировали философский и нравственный кризис в России первой четверти XX века и предлагали возможные пути выхода из него. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82:316.3
ББК 83.3(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-907532-06-9

© Стейнберг М. Д., 2002
© Библиороссика, 2002

Содержание

Благодарности	6
Введение	8
Личность	10
Модерность	12
Сакральное	15
Интерпретация культурных практик	17
Маргинальность	19
Эмоции, субъективность, воображение	21
Амбивалентность и неоднозначность	23
Глава 1	26
Определение рабочей интеллигенции	28
Построение народной культуры	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Марк Стейнберг

Пролетарское воображение. Личность, модернность, сакральное в России, 1910-1925

Mark D. Steinberg

Proletarian Imagination

Self, Modernity, and the Sacred in Russia; 1910-1925

Cornell University Press

Ithaca and London

2002

Перевод с английского Ирины Климовицкой



Originally published by Cornell University Press.

Copyright 2002 by Cornell University Press.

This edition is a translation authorized by the publisher.

© Mark D. Steinberg, text, 2002

© И. Климовицкая, перевод с английского, 2021

© Academic Studies Press, 2022

© Оформление и макет, ООО «Библиороссика», 2022

Благодарности

Предисловие для русского издания

Для меня эта книга больше, чем перевод. Это возможность услышать забытое прошлое на его родном языке. Книга наполнена голосами, прежде всего голосами людей из рабочего класса – побуждаемые страстью и стремлением быть услышанными, они писали стихи, прозу, статьи. Кто-то из этих писателей-рабочих известен: в первую очередь, конечно, Андрей Платонов и в меньшей степени Михаил Герасимов или Владимир Кириллов. Однако большинство этих авторов сегодня практически забыто, а их произведения трудно отыскать.

Язык имеет значение в истории. Тексты, исследуемые в этой книге, насыщены и идеями, и эмоциями. Эта книга в ее оригинальном англоязычном варианте – «*Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925*», опубликованная издательством *Cornell University Press* в 2002 году, имеет целью, как многие исторические работы, восстановить голоса прошлого и исследовать сознание людей, которые не только далеки от нашего времени, но и в современную им эпоху были маргинализированы. Как ни странно, их услышали только после того, как я перевел их на английский язык. Очевидно, это означает утрату чего-то существенного, а именно голосов прошлого на том языке, который помогал этим писателям осмыслять свою жизнь и окружающий мир в один из самых бурных периодов российской истории: между революцией 1905 года и кануном сталинизма. Возвращаясь к своему архиву фотокопий, микрофильмов и рукописных блокнотов, чтобы предоставить оригинальные цитаты переводчику, я испытал волнующий опыт повторного знакомства с этими голосами прошлого. Они показались мне даже более глубокими, сложными и выразительными, чем тридцать лет назад.

Поэтому прежде всего я хочу поблагодарить людей, чьи слова стали живым сердцем этого текста – как известных, так и забытых, как преданных революции, так и не принявших ее или разочаровавшихся в ней, как тех, кто сделал карьеру при советской власти или по крайней мере уцелел, так и тех, кто замолчал или кого вынудили замолчать, включая многих, погибших во время сталинского террора.

Переводчик Ирина Климовицкая заслуживает большой благодарности за работу над переводом на изящный русский язык моей иногда слишком сложной английской прозы. Ирина Знаешева, редактор серии в издательстве *Academic Studies Press*, руководила всем процессом с высоким профессионализмом. Я также благодарен Ксении Тверьянович, редактору по правам *ASP*, за интерес к моей книге и включение ее в серию, издательству Корнельского университета за разрешение переиздать «Пролетарское воображение» на русском языке и Научно-исследовательскому совету Иллинойского университета за щедрый грант на финансирование этого перевода.

Я неизменно храню в своем сердце благодарность сотрудникам библиотек и архивов Москвы и Санкт-Петербурга, в которых я провел большую часть изысканий для этой книги в начале 1990-х годов, в трудное для многих людей и учреждений время. Мне помогли Российская государственная библиотека (Ленинка), Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН), где часть редких изданий, которые я использовал, была трагически утрачена во время пожара 2015 года, Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) и Российская национальная библиотека (Публичка). Я благодарен тем, кто оказал финансовую поддержку моим исследованиям в России и предоставил время, необходимое для написания книги, освободив от преподавательских обязанностей, – Национальному фонду гуманитарных наук, Совету по международным исследованиям и обмену, Иллинойскому университету и Йельскому университету.

Не в последнюю очередь эта книга выросла и обрела глубину благодаря критическим замечаниям многих коллег-ученых, среди них: Катерина Кларк, Барбара Энгель, Стивен Франк, Питер Фриче, Джейн Хеджес, Катриона Келли, Диана Кенкер, Анна Крылова, Линн Малли, Уильям Розенберг, Бернис Глатцер Розенталь, Барбара Уолкер, Джеймс фон Гельдерн, Реджинальд Зельник, а также участники многочисленных конференций и семинаров, на которых я рассказывал о своих изысканиях и трактовках. За помощь в исследовании я благодарен Марджори Хилтон, Грегори Квебергу и Сьюзен Смит – в прошлом аспирантам, а ныне профессорам – и Валерию Брун-Цеховому в Москве.

Наконец, по личным соображениям я посвятил английское издание «Пролетарского воображения» Джейн и Саше. Джейн Хеджес умерла от рака в 2015 году. Сейчас я живу в Нью-Йорке рядом с нашим сыном Сашей, который стал продюсером, писателем и знаменитым дрег-артистом, чей сценический псевдоним – Саша Велюр. Я благодарен Саше и Джону Джейкобу Ли – семье Велюр – за то, что они приняли меня и Даниэлу Стейла в свою жизнь и сообщество. С Даниэлой я познакомился еще в 1984 году в Ленинграде, в легендарном общежитии на улице Шевченко, когда она тоже была студенткой. Сейчас она профессор Туринского университета, специализируется на истории русской философии. Мы поженились летом 2020 года, в самый разгар пандемии COVID-19. Даниэла не только изменила мою личную жизнь, но и помогла мне в работе над переводом этой книги и в понимании русских идей. Я посвящаю русское издание «Пролетарского воображения» ей.

Марк Стейнберг
Бруклин, Нью-Йорк и Пианецца, Италия
Осень 2021

Введение

Воображение... является неотъемлемым элементом человека, так же как повседневный опыт или практическая деятельность.

Мирча Элиаде

Самосознание, этот демон гениальных людей нашего времени... которому наша эпоха обязана столь многим в своей радостной и печальной мудрости.

Джон Стюарт Милль

Эта книга посвящена особым, даже странным историческим персонажам: представителям российского рабочего класса, которые не получили образования или имели начальное образование, но писали стихи, прозу и другие художественные тексты (говоря точнее, круг моего внимания ограничен теми авторами, которые отвечают следующим критериям: начали писать до 1917 года; занимались наемным трудом, обычно фабрично-заводским; их сочинения пробились в печать, хотя многое осталось неопубликованным; проживали в основном на территории российской части империи). Эти рабочие не просто оставили несколько случайных поэтических или прозаических строчек. Они писали с упорством и самоотдачей, которые позволяют назвать их писателями. И они писали не ради того, чтобы творить «искусство», но ради того, чтобы громко заявить о своем отношении к миру – высказаться о жизни, которая их окружала, об обычных и необычных событиях, о смысле существования и о себе самих. Их мир – Россия эпохи заката царского режима и становления советской власти и более широкий мир современной им Европы (какой она виделась с самой нестабильной границы) – и сам находился в состоянии сильнейшего брожения и изменений. Рассматриваемый период охватывает примерно 1910–1925 годы: он начинается с неустойчивого затишья, наступившего после революционного подъема 1905–1907 годов, за которым последовал ряд политических реформ, продолжается Первой мировой войной и революцией, за которыми последовал кровавый гражданский конфликт, и завершается первыми социалистическими экспериментами и опытами строительства. В водовороте этих лет немного казалось ясным и определенным, зато многое – возможным.

Люди, о которых пойдет речь, находились в особых отношениях со своей эпохой. Как рабочие писатели, точнее даже, как пролетарские интеллектуалы – комбинация, в которой присутствуют беспокойство и могущество, связываемые обычно с лиминальными социальными идентичностями, – существовали на пересечении границ, имеющих важное социокультурное значение. Эти люди обживали, оспаривали и даже нарушали лабильные социокультурные границы между классами и категориями: между физическим и умственным трудом, между производством вещей и производством идей, между производителями и потребителями культуры. Такая позиция давала им определенные преимущества – порой им удавалось, как никому, нащупать важные социальные процессы и болевые точки эпохи. Не менее важно и то, что, в отличие от большинства представителей российских низших классов, они обладали способностью и готовностью выражать свои чувства и мысли на бумаге и оставили нам богатейший материал, который задокументировал их усилия понять мир и самих себя в нем. Конечно, они не подходили к решению этих вопросов с позиций *tabula rasa*. На их образ мыслей влияла не только их повседневная жизнь, но и тот культурный багаж, которым они располагали (почерпнув его из старых преданий, современной литературы, массовой печати и разговоров) и который снабжал их необходимыми символами, системой образов, набором идей и способом вос-

приятия. В сложном диалоге с современной им культурой и собственным социальным бытием эти люди выработали самобытный и сложный взгляд на общество и развитие личности.

Пролетарские писатели затронули многие ключевые вопросы своего времени – и благодаря им открывается доступ к тому, как рядовые люди интерпретировали свою действительность, то есть к тому, во что ученые-историки только начинают углубляться. В то же время, как хорошо понимали и сами рабочие писатели, волновавшие их вопросы не ограничивались только их эпохой или территорией. Рабочие писатели подвергли проверке на прочность сам феномен культуры – с точки зрения критериев, которые следует определить, инструментария, который следует развить, и идеала, к которому следует стремиться. Их занимали морально-этические проблемы: всеобщие, даже универсальные критерии добра и зла, которые относятся к коллективной политико-социальной жизни, и вопросы, которые относятся к сфере личного выбора и поведения. Не игнорировали они и вопрос о власти, будь то культурная власть устанавливать, что есть истина (универсальная моральная истина, например), или экзистенциальная власть выбирать собственную судьбу и жизнь. При этом некоторые вопросы разрабатывались более детально. Более всего пролетарских писателей волновали три темы, имеющие экзистенциальное значение: личность, модерность, сакральное. Эти три темы и определили содержание данной книги.

Личность

Несмотря на распространенный стереотип, что в основе российского культурного сознания лежит коллективизм, поиск личной идентичности, утверждение социальной и нравственной ценности личности имеют давнюю историю в российской культуре – этим поиском пронизана и бурная общественная жизнь последних десятилетий царского режима, и первых лет советской власти¹. Пролетарских авторов эти вопросы занимали ничуть не меньше. Концепция личности как в России, так и в современном мире в целом играет важную роль в образе мыслей и образе действий людей, которые, опираясь на нее, решают фундаментальные экзистенциальные вопросы самоопределения, морального блага и истины. Концепция личности, конечно, не является универсальной. Она формируется в той трудноуловимой области, где природные интенции ума встречаются с внешним миром эмпирического опыта и смыслов (включая материальную жизнь, политические структуры, культурные ландшафты языка, образов и символов), и исходя из этого личность может получать разные определения, ее можно по-разному осмыслять, воображать, репрезентировать и использовать. Именно изменение концепции личности, в связи с соответствующим изменением этических норм, представлений о внутреннем мире, критериев справедливости, делает историю этого понятия такой содержательной. Представление о внутреннем и автономном «я», которое осознается в процессе рефлексии, само себя активно формирует и обладает от природы универсальными человеческими качествами и самоценностью, является лишь одной из возможных концепций личности, хотя и такой, которая оказала большое влияние на формирование морали и социально-политической мысли в большинстве современных стран. Попытки постичь собственное «я» с помощью интроспекции уходят корнями в глубокую древность, однако только в течение последних двух или трех столетий изучение проблематики «я» становится регулярным и даже популярным, что особенно характерно для Европы XIX века, который можно назвать веком интроспекции или самоанализа. Эта «вековая попытка составить карту внутреннего мира», говоря словами Питера Гэя, питала искусство, литературу, философию и даже науку и оказала большое влияние на образ жизни людей [Gay 1995]. Она также породила представления о морали, которые быстро трансформировались в политические и социальные убеждения. Так, понятие внутреннего человека, который от природы наделен ценностью, породило последовательное убеждение, что каждый человек обладает некими естественными правами не в силу своего статуса, положения или роли, но просто потому, что является человеческим существом. Не стоит приписывать такой концепции личности и морали больше последователей, чем она имела. Даже на ее родине, в Западной Европе, находились люди, не принимавшие ее, – например, в начале Нового времени крестьяне отказывались признавать за индивидом какое-либо значение помимо того, которое он приобретает благодаря своему месту и связям в социуме; или те, кто рассматривал личность как лишенную цельности и устойчивости. Не так давно ученые обнаружили новые трещины в этой, казалось бы, прочной западной концепции личности – например, способы, которыми культурно обусловленные представления о гендере, природе и соотношении мужского и женского позволяют конструировать различные нормы самоидентификации и самовыражения. Некоторые исследователи пошли еще дальше, изучая еще более амбивалентные и подчас очень мрачные случаи самоидентификации, когда личность и я-концепция фор-

¹ Нарративам самоидентификации в русской истории и литературе была посвящена специальная конференция, по итогам которой издан сборник статей «Self and Story in Russian History» под редакцией Лауры Энгельштейн и Стефани Сандлер [Engelstein, Sandler 2000]. Весьма глубокий, хоть подчас и спорный анализ концепции личной идентичности в русской культуре и практике, в основном сталинского и послесталинского периода, предлагает Олег Хархордин [Kharkhordin 1999].

мировались под влиянием таких переживаний, как тревога, отчуждение, меланхолия, страх, а также под влиянием склонности к нарциссизму, лжи, иррациональным желаниям².

В данной книге рассматривается формирование образа себя в русской культуре. Если конкретно, то я исследую распространенное среди простого народа понимание, что такое человеческая личность и человеческое достоинство, которое помогало рабочим писателям (и не только им) формулировать морально обоснованный протест против неравенства и эксплуатации. В то же время эти писатели часто обращались к более сложным моделям личности, а именно их интересовал тип выдающейся личности – образ гения, спасителя, мифического героя, нищезанского сверхчеловека. Даже в период усиленного внедрения идеологии коллективизма после 1917 года мы обнаруживаем сохраняющуюся идеализацию героической личности, упорную и порой всепоглощающую заботу о самосовершенствовании, внимание к внутреннему эмоционально-нравственному состоянию человека. Безусловно, вокруг личности возникал и более мрачный нарратив, построенный на мотивах неизбежного (хоть и не лишённого романтизма) одиночества, отчуждения, страданий и смерти, когда человеческая жизнь и ее смысл виделись в трагическом по преимуществу свете. Зачастую это были не противоречащие друг другу перспективы и не альтернативные возможности. По мере того как время шло, люди старели, ход истории и прежде всего итоги революции вызвали разочарование, трагизм одерживал победу над героизмом. Однако нередко героическое и трагическое были неотделимы друг от друга в амбивалентном сочетании.

Концепции и модели личности, которые встречаются в сочинениях пролетарских писателей – выходцев из рабочей среды, ставят под вопрос наше мнение о том, что было важно для людей в прошлом, особенно для простых людей. По крайней мере, у некоторых русских рабочих имелось довольно глубокое мировоззрение, которое ближе к философии морали, чем к простым категориям политической идеологии или социальной истории. Эммануил Кант, хоть он и принадлежит совсем другой эпохе и стране, весьма точно описал образ мыслей многих пролетарских писателей в своих рассуждениях о возвышенном. Возвышенное, по Канту, представляет эстетическое и эмоциональное восприятие мира, которое рождается из глубокого переживания красоты, достоинства и богатства человеческой природы, человеческой личности, когда созерцание великой красоты сопровождается глубокой меланхолией или даже ужасом³. Многим русским писателям из рабочего класса был хорошо знаком, порой даже до болезненности, такой умственный и эмоциональный настрой.

² Есть много важных исследований, посвященных различным концепциям личности и взаимосвязи между личностью, представлением о себе и моральным суждением. Среди работ, с которыми я знаком, наиболее интересными представляются следующие: [Ranciere 1989; Davis 1983; Geertz 1983: 55–70; Carrithers et al 1985; Taylor 1989; Shweder 1991: 113–185; Porter 1997]. О конструировании личности, построенном на гендере, см. [Scott 1988: 28–50]. Работы Мишеля Фуко по истории сексуальности были сосредоточены на «конструировании личности» и исторической важности идей о личности для «генеалогии этики». См. [Фуко 1998] и его интервью Хьюберту Дрейфусу и Полу Рэйнбоу [Dreyfus, Rabinow 1983].

³ См. [Кант 1964].

Модерность

Рабочие писатели, будучи горожанами, пролетариями и часто участниками революции, ощущали ткань современной жизни буквально собственной кожей. Как и следует ожидать, физическая и социальная реальность современного города и его индустриального ландшафта, с фабриками, машинами и наемным трудом, накладывала отпечаток на их размышления о современности. Однако, предаваясь размышлениям и формулируя их на бумаге, они испытывали не только влияние эмпирической реальности города с его индустриальным бытом, но и влияние развивающегося публичного дискурса о модерности, особенно о специфических для нее пространствах города и промышленного производства. Этот культурный контекст значительно повышал уровень чувствительности к материальным и социальным условиям жизни, по мере того как материальное и социальное продолжало влиять на образ мыслей пролетарских писателей и способ усвоения ими чужих идей. Сочетание социального и культурного опыта придавало их восприятию современности значительную глубину.

Город издревле считается одним из самых ярких символов человеческой цивилизации. Являясь крупнейшим и наиболее долговечным творением воображения и рук человека, самым масштабным и наиболее устойчивым локусом межчеловеческих коммуникаций и взаимодействий, город рассматривается как показатель того, что человек есть и что он производит. Такое понимание города всегда отличалось двойственностью. В легендах, эпосе и утопиях как реальные, так и вымышленные города играли важную, но неоднозначную роль. Троя, Вавилон, Содом и Рим рассматривались как средоточия всего лучшего, что есть в человеке: силы, мудрости, творческого потенциала, прозорливости, – но и как средоточия гордыни и греха, обреченные на разрушение. В Новое время эта двойственность воспроизводится в образе города с новой силой. Большие города современности, такие как Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк постоянно фигурируют как центры возможностей и опасностей, успеха и отчаяния, расцвета и упадка, созидательности и потерянности. Противоречивость облика города настолько прочно вошла в западную мысль, что породила глубокую психологическую и культурную обеспокоенность будущим цивилизации и ее творцов. Современность с бурным развитием технологий и обострением нравственных противоречий подсыпает соли на эту рану.

Модерность является ускользающей категорией прежде всего из-за своей принципиальной многозначности. Лишь частично ее можно определить как совокупность процессов и ценностей, порожденных рационализмом и научным прогрессом: модернизация административного и эстетического подхода к обществу и природе, курс на управление окружающей средой, социальными и экономическими процессами с помощью науки и технологии, отношение к городу и машине как символам рациональности, эффективности и развития⁴. Не являются исчерпывающими ни знаменитое определение модерности, данное Шарлем Бодлером, как «переходной, текучей, случайной» [Бодлер 1986: 287], ни эстетическая характеристика модерности как опыта культурного разрыва и неопределенности. Пытаясь примирить эти противоречивые аспекты модерности, литературовед Матей Калинеску ввел понятие «двух современностей». Одна современность может быть охарактеризована как «культ разума», «доктрина прогресса, уверенность в несущих благо возможностей науки и техники, внимание к темпоральности». Другая современность является эстетической, и она протестует против буржуазного упования на разум, науку, пользу и предлагает вместо них бунт, страсть, часто скептиче-

⁴ Блестящий анализ «высокой модерности» современного государства можно найти в [Scott 1998]. Большая часть исследований М. Фуко посвящена современному развитию систем и структур власти, которые постоянно повышают степень наблюдения и контроля за субъектом. Общая характеристика западных моделей модерности дается в [Adas 1989:409–415]. Обзор всех концепций «человек как машина», начиная с эпохи Ренессанса, см. в [Mazlish 1993]. См. также определение Запада как машинной цивилизации в [Beard 1928:14–20].

ский и пессимистический взгляд на прогресс и на будущее [Calinescu 1987: 10, 42, 48, 89, 90, 162]⁵. Политолог Маршалл Берман также утверждает, что модернизм в литературе, искусстве, интеллектуальной сфере подразумевает не столько рационализм и установку на прогрессистское упорядочивание, сколько взрыв, хаос, сдвиг, хотя и не исключает в принципе веры, пусть не всегда твердой, в то, что из этой бури родится новый и лучший мир (и красота) [Berman 1982].

Теоретики постмодерна пошли дальше описанного выше дуализма и провозгласили принцип множественности модерностей, учитывая повсеместность расслоения и дифференциации, вызванных гендерными, расовыми, классовыми и локальными особенностями; опыт тех, кто принадлежит к низшим слоям общества и маргинальным группам, значительно влияющий на картину модерности; различие в темпе времени, когда гибридные темпоральности обусловлены не только ускорением, сменой новостной повестки и инновациями, но и преемственностью, повтором и возвращением; а также модификацию модерностей в зависимости от эпохи и географии [Appadurai 1997; Gilroy 1993; Felski 1995; Felski 2000: chap. 2]. Развивая концепцию модерности далее, Зигмунт Бауман подчеркнул наличие взаимосвязи между модерностью и такими понятиями, как контингентность, текучесть и неопределенность. Модерность, утверждает он, принципиально самоотрицает себя и свои свойства. Современная культура, по сути своей критичная, неудовлетворенная и ненасытная, соответствует сути современного общества, которое находится в состоянии бунта, разрушения, нестабильности. Вместе с тем общество пытается преодолеть эту неопределенность: расколдовывает мир с помощью такой уловки, как «разумная причинность», следует по бесконечному пути прочь от дикости, непрерывно борется за универсальность, гомогенность, ясность, «отвергает амбивалентность». Одним словом, модерности по самой ее природе свойственно «жить самообманом» и во имя необходимости, универсальности, научной истины, определенности и закономерности пребывать в постоянном отрицании случайности, неопределенности, неустойчивости, амбивалентности, которые она сама же и производит [Bauman 1991]. Модерность, полагаю, лучше всего описывается именно через подобный противоречивый и развивающийся диалог двух тенденций, через неоднозначность (в смысле неразрешенного противоречия), которая происходит из взаимозависимости между контингентностью и ее отрицанием, между позитивистским рационализмом и скептическим иконоборчеством, между дисциплинарным подавлением и либидинальным эксцессом, между различимостью и пугающей неоднозначностью, между верой в прогресс (и удовольствием от нового) и глубокой неуверенностью в нем.

Современный город служит примером всех противоречий, заключенных в модерности. Быстрый рост городов в Европе и мире, вкуче с индустриализацией, начавшейся в XVIII веке, породил разновидность дискурса, в котором проблематизируется модерность как таковая. К середине XIX века наиболее распространенные и парадигмообразующие образы города в европейской и американской литературе обрели отпечаток модерности. Город являет себя как сгусток жизненной энергии и текучий поток («движущийся хаос», говоря словами Бодлера), его материальный ландшафт складывается из камней, бетона, машин и шумов, психологическая атмосфера проникнута одиночеством и тревогой («одиночество на мостовой», по известному выражению Н. Готорна, или «одиночество в толпе», по не менее известному выражению Э. По), это место, где царят мифы и экзистенциальное отчуждение, это сбивающий с толку лабиринт, где в каждый момент видна лишь часть целого⁶. Таковы современные образы города, которые обусловлены современным восприятием и пониманием мира и внушены формами и ритмами этого мира. Историки современной Европы отметили двойственность нарративов

⁵ Обсуждение модели западной модернизации см. в [Adas 1989: 409–415].

⁶ Образы города в западной культуре обсуждаются в [Schorske 1963: 95–114; Jhrupp 1963: 121–32; Mumford 1965: 271–292; Fisher 1975: 371–389; Pike 1981; Johnston 1984; Harvey 1985: 180–206; Versluys 1987; Gilloch 1996; Buck-Morss 1999].

модерна: с одной стороны, безудержный индивидуализм, с другой стороны, подавление индивидуальности; с одной стороны, сомнения в допустимости новых ролей женщины, с другой стороны, ее активное вовлечение в динамичную общественную сферу, с одной стороны, поддержка эмансипации современными политиками, с другой стороны, одобрение ими репрессий; с одной стороны, развитие науки, с другой стороны, нарастание страха перед наукой. В новом переживании современности сочетаются вера в быстрый прогресс, ностальгия, обостренное ожидание конца света. Конечно, тревога о будущих судьбах мира или человеческого субъекта не является чем-то новым или характерным только для нашего времени. Для нашего времени характерно то, что эта тревога сопровождается противоречивыми настроениями: с одной стороны, стремлением к рационализации и дисциплинированию, с другой стороны, упоением случайностью и неопределенностью, и очевидно, что многие люди осознают эти противоречия⁷.

В России хорошо понимали переживания европейцев и их взгляды на модерность, и это понимание усугублялось ярко выраженным и порой навязчивым комплексом собственной «отсталости»: задержкой в темпах индустриализации и урбанизации, а также наличием противоположных импульсов к дисциплине и хаосу в модерности. На рубеже XIX–XX веков русскую литературу и русскую прессу интересовала современная жизнь, с бурной витальностью и зловещими опасностями, увлекали соблазны модернистского упрощения и научного упорядочивания общества, политики и даже человеческой личности, а также склонность к не менее модернистскому конструированию себя, нарушению границ и отчаянию⁸.

Соприкосновение с современной реальностью для русских пролетарских писателей было особенно чувствительным и болезненным. Их неизбежно двойственная идентичность как городских рабочих и в то же время пишущих авторов придавала их символической интерпретации города, фабрики и машины самобытность и пафос. Их восприятие при всей его двойственности (и благодаря ей) было остро современным. Город, фабрика и машина оставались чуждыми и зловещими явлениями даже для тех, кто был целиком связан с бытом индустриального мегаполиса, его эстетикой и перспективами. В сочинениях рабочих писателей чувство свободы сочеталось с чувством утраты и сожаления, опыт открытия и созидания собственной личности – с ощущением отчуждения от своей подлинной сущности, упоение пьянящими ритмами городской индустриальной жизни – с нередким отчаянием из-за ее жестокой бездушности. Некоторые авторы открыто выражали свое представление о современности как об эпохе, когда «чудеса выросли на ужасах, а ужасы – на чудесах» и «неожиданные боли и радости... бросаются в глаза на каждом шагу» [Ляшко 1921]. Даже самые утонченные интеллектуалы находили эти противоречия крайне болезненными. Такой, характерный для модерна, образ мышления прервался под воздействием постмодернистского умонастроения. А интеллигенты из рабочих отнюдь не наслаждались неопределенностью, парадоксальностью или иронией. Им хотелось бы, чтобы в мире было больше ясности, однозначности и веры. Не находя этого, они явно страдали.

⁷ См. [Clark 1984; Walkowitz 1992; Felski 1995].

⁸ Историки лишь недавно приступили к отдельному изучению сложной культуры русской модерности. См. [Engelstein 1992; Neuberger 1993; Sylvester 1998]. Литературоведческих исследований об эпохе модерна в России имеется много, но в них мало внимания уделяется более широкому социальному и культурному контексту. Значимым исключением является [Clark 1995].

Сакральное

Чувство священного – как культурный источник тех образов и нарративов, которые связаны с переживанием трепета и тайны от соприкосновения с наделенными смыслом и властью структурами, лежащими в сфере трансцендентного и мифического, по ту сторону видимого материального мира, – играло важную роль в различных способах осмысления внешнего и внутреннего мира. При рассмотрении таких вопросов, как язык интерпретации собственной личности и модерности, мы вновь и вновь сталкиваемся с настоятельной необходимостью понять и внятно описать то, как пролетарские писатели обращаются с этой неуловимой и неоднозначной формой знания. Мы не вправе игнорировать это знание и восприятие. Ощущение присутствия сакрального в мире и в собственной жизни переполняет сочинения пролетарских писателей.

Историки, изучающие модерность в России, начали пристально интересоваться той важной и сложной ролью, которую религия, духовность и священное играли в русской жизни, особенно в жизни народа. Эта тема, которую очень долго обходили стороной по политическим и методологическим причинам, сегодня признана одной из наиболее важных областей исследования, необходимой для понимания исторического опыта России эпохи модерна. В течение нескольких десятилетий, которые непосредственно предшествовали началу XX века и следовали за ним, включая первые годы советской власти, Россия пережила то, что называется религиозным ренессансом, который оказался богат течениями, страстями, сложностями и противоречиями. Многие образованные люди – даже те, кто придерживался левых политических взглядов, – были увлечены религиозными идеями, теософией, восточными религиями, духовными течениями, мистицизмом и оккультизмом. В низших сословиях, хоть их изучение находится в самом начале, также наблюдались всплеск интереса и разнообразие религиозных и духовных исканий⁹.

На эти исследования оказало влияние изучение религиозности как других стран, особенно Западной Европы, так и других эпох. Особое значение имел поворот от первоначального изучения религии как официального института к изучению религии как социокультурной практики, как живого процесса, в котором производится интеллектуальное и эмоциональное содержание. Этот поворот соответствует тем более общим методологическим изменениям, которые происходят в изучении истории, в новом подходе антропологов и других ученых к религии, магии и сакральному. Вопреки утверждениям, что «секуляризация европейского сознания» усиливается и разрыв между сакральным и профанным в эпоху модерности постепенно возрастает, превращая их в две отдельные сферы, судьба религии в эпоху раннего и позднего модерна в Европе демонстрирует, что религиозность, духовность и сакральность сохраняются и периодически усиливаются. Религия, безусловно, является не автономным феноменом, а организмом, который состоит из значащих символов и ритуалов, связанных с современной политикой, социальными отношениями, гендером и различными сообществами, но не сводится к ним. Религиозные верования и практики, включая формы, не одобряемые церковью, служат для того, чтобы конструировать и поддерживать идентичность, артикулировать этические нормы и ценности, осуществлять и оспаривать властные полномочия. Понятие сакрального и восприятие мира через трансцендентное сохраняют свою силу по сей день¹⁰.

⁹ Основные труды на эту тему: [Zernov 1963; Kline 1968; Read 1979; Carlson 1993; Shevzov 1994; Evtukhov 1997; Rosenthal 1997; Young 1997; Peris 1998; Coleman 1998; Engelstein 1999; Worobec 2001]. Дополнительная библиография приводится в главах 6 и 7.

¹⁰ Обзор некоторых теоретических подходов к теме народной религиозности и соответствующей научной литературы см. в [Davis 1982: 321–341; Badone 1990; Ford 1993b: 152–175; Pals 1996].

Большинство современных исследователей преуспели скорее в изучении социальных и культурных функций религии, чем в описании и осмыслении религии как субъективного опыта. Очевидно, однако, что религия служит способом эмоционального познания и самовыражения. Религия удовлетворяет потребность человека привнести порядок и смысл в жизнь, которая иначе превращается в бессмысленный хаос, погрязший во зле и страданиях, и в какой-то мере овладеть неизвестностью (религия как номос), а также потребность человека выразить свое отношение к миру как вместилищу тайны и внушающей трепет силы (религия как этос). Религия снабжает человека средством контроля и смыслами и, кроме того, придает форму воображению, ностальгии по утраченному совершенству, переживанию трепета и возвышенного¹¹. Как религия обращается с настроением и смыслом и в какой степени переживания и смыслы обуславливают друг друга, лучше всего демонстрируют исследования, посвященные похоронным ритуалам, чудесным явлениям, одержимости, спиритизму и культу святых, а также более трудноопределимым формам сакрального воображения – символу и метафоре, практикам памяти и зарождению благочестия¹². Однако многие историки остерегаются заходить в эту трудную область и не рискуют отклоняться от традиционной точки зрения даже ради того, чтобы проникнуть в более глубокие слои мотиваций и смыслов. Тем не менее нельзя отрицать всепроникающего и постоянного влияния эстетического, мифологического и эмоционального аспектов мировосприятия, а также их связи с социальной и политической сферой.

Русские пролетарские писатели затрагивали эти вопросы и аспекты весьма сложным образом. Когда они использовали религиозный язык, что случалось часто, обычно их сочинения не носили религиозного характера в прямом смысле слова, то есть не отражали какой-либо церковной доктрины или убеждения, которая в строгой, канонической, «подлинно культурной» системе упорядочивает космос сакрального¹³. Христианские понятия, образы и нарративы использовались пролетарскими писателями не столько в буквальном христианском значении, сколько в качестве языка, который позволяет говорить о сакральном благодаря своему богатому метафорическому и символическому содержанию. Эти притчи, образы, слова и символы выходят за рамки пространства и времени – в чем и заключается одно из определений сакрального, они связывают видимое и сиюминутное со всеобщими, даже вечными нарративами и топосами [Eliade 1963 (особ. Introduction и chap. 1); Eliade 1959]. Пролетарские писатели, обращаясь к эпифаническим моделям текста, когда священное призвано являть себя, не настаивают на его буквальной трактовке – религиозность в их текстах проявляется не столь прямо. Образы распятия и воскрешения, к примеру, не требуется понимать буквально, чтобы они оказали воздействие на воображение и чувства. Символический язык сакрального пролетарские писатели чаще всего использовали для того, чтобы разрозненные фрагменты повседневной жизни сделать частью нарратива, наделенного смыслом и целесообразностью, включить в согласованную картину бытия. Кроме того, подобный дискурс вмещал в себя аффекты и эмоции, отвечал стремлению оформить воображаемое и выразить возвышенное, внушающее трепет.

¹¹ Хотя я использую эти термины несколько иначе, по поводу религии как номоса см. [Berger 1967:19–25], по поводу религии как этоса см. [Geertz 1973a: 89–103; Geertz 1973a: 126–141], а также работы М. Элиаде, особенно [Eliade 1959; Eliade 1960]. Содержательный обзор взглядов Элиаде можно найти в [Pals 1996: 159–180].

¹² См., например, [Ford 1993b: 162–169; Blackbourn 1993:9,12,29,32,142; Sabeian 1984: 30, 32, 43, 103–112, 212].

¹³ Хотя понятия «религия» и «сакральное» всегда имеют точки пересечения, я различаю их, как различают Гирц в [Geertz: 98–112] и Бергер в [Berger 1990:26].

Интерпретация культурных практик

Данная книга представляет историю идей (и их трудноуловимых родственников – ценностей и чувств), но в отличие от традиционной интеллектуальной истории в центре моего внимания находятся те идеи, которые пытались сформулировать люди не очень образованные и почти всегда занимавшие в жизни подчиненное положение. Я рассматриваю эти идеи не как автономную область, а в связи с социальной и политической жизнью, но в отличие от традиционной социальной истории в центре моего внимания находятся не коллективы и сообщества, а отдельные личности, часто маргиналы, и не оформленные в систему социально-политические взгляды, а размышления, которые ближе к философским. Поставленная задача выглядит крайне амбициозно. Я не настолько наивен, чтобы полагать, будто лишь на основе текстов – порой туманных, как стихи, – мне удастся во всем объеме реконструировать то, что рабочие авторы думали (тем более, чувствовали) о современной им русской социально-политической действительности, не говоря уж о личности, модерности и сакральном. Я снова и снова перечитываю их произведения, внимательно вслушиваюсь в их слова, вспоминаю все, что известно о социальном и культурном контексте, который их окружал, уточняю свои гипотезы, но я все равно остаюсь на зыбкой почве интерпретаций. Хотя теоретические и сравнительные исследования предлагают методы, которые помогают сложить из различных фрагментов более или менее достоверную картину, все же в этих подходах высока вероятность ошибки. Таковы риски культурологического метода, который, будучи интерпретативным, в своем поиске смысла обречен сохранять «существенную неполноту» [Geertz 1973b: 5, 29]. Но, полагаю, для историка риск – благородное дело, если его цель – понять не только почему какие-то события происходили, но также (хотя это подразумевает понимание причин) какое *значение* эти события (а также бессобытийная повседневность) имели для людей.

Необходимо различать те способы, которыми люди создают и используют культурные инструменты (язык, символы, ритуалы), и те способы, которыми реалии их жизни (материальная среда, социальное положение, власть и обычай) воздействуют на людей, принуждая и побуждая их создавать и использовать культурные инструменты. Сегодня признание той роли, которую играет дискурс в приписывании значений миру, в упорядочивании данных опыта, в определении смыслов и целей, стало общим местом. Гораздо перспективней подход, который признает постоянное взаимодействие и взаимовлияние между структурой и деятельностью, переплетение культурного и материального, «диалог» между словом и миром. Строго говоря, социокультурная жизнь людей включает в себя эмпирические динамические процессы (именуемые «практиками»), когда физический и социальный миры сохраняют способность формировать, ограничивать и разрушать дискурс, в котором культурные смыслы неизбежно «несут бремя мира», равно как и наоборот [Sahlins 1985: 138]¹⁴. Русские пролетарские писатели осваивали и использовали богатый ассортимент доступных им идей, представлений и образов и вместе с тем переживали такие важные формы опыта, как бедность, социальная зависимость, общественные изменения, новые возможности, война, революция. В то же время рассматриваемые здесь культурные практики не являлись простой реакцией на конкретные события или условия жизни. В этих практиках содержатся не только случайные мгновения исторической эпохи. Тот мир, «бремя» которого несли рабочие писатели, состоял из наличного настоящего и хранящегося в памяти прошлого, из видимой реальности и воображения, из событийности и сущностей.

¹⁴ Наиболее важные работы о сложном взаимодействии между культурой и структурой: [Geertz 1973a; Sahlins 2000; Bourdieu 1977; Certeau 1984; Certeau 1988; Sewell 1993: 15–38; Ludtke 1995; Bachtin 1996]. Аналитический обзор многих упомянутых проблем можно найти во введении к хрестоматии [Dirks et al. 1994] и опубликованных в ней статьях Шерри Ортнера и Стюарта Халла, а также в статье Р. Шартье, опубликованной в [LaCapra, Kaplan 1982].

Центральное место при изучении культурных практик занимает понятие активного субъекта. Рассуждения о власти, особенно о культурной власти, которые постулируют неотвратимую и тотальную гегемонию или даже безличную игру силовых полей культуры, рисуют риторически весьма драматичную картину мира, но неизбежно упускают из виду или в значительной степени отрицают подлинную сложность человеческой агентности и отношений доминирования. Существует множество доказательств того, что индивиды и группы индивидов сохраняют способность и возможность перерабатывать, изменять и даже отвергать имеющиеся культурные формы. Следует признать существование не только управляющих человеком и подчиняющих его факторов окружающей среды, но и тех не прямых траекторий, которым люди следуют, используя моменты и шансы, активно присваивая формы и смыслы. Русские пролетарские писатели прекрасно осознавали это, даже если выражались проще. Они верили, что являются субъектами собственной истории. Они понимали, что в мире на каждом шагу подстерегают препятствия. Они не поддавались страху.

Маргинальность

В данной книге рассматриваются механизмы функционирования культурных смыслов в группе, которая являлась маргинальной для современной ей России (а Россия сама являлась маргинальной для современной ей Европы); эта необычная группа находилась на окраине народной культуры и на окраине культуры образованных классов, она возникла в результате того, что часть грамотных бедняков с невероятной страстью принялась читать и писать. Данное исследование предполагает (точнее, утверждает), что изучение нетипичных частных случаев, лежащих в стороне от проторенной дороги, является чрезвычайно полезным: оно позволяет не только заполнить пробелы в наших знаниях, но и взглянуть с новой точки зрения на типичные явления, пересмотреть картину в целом. Этот аргумент уже не нов. Важные исторические исследования возникли из понимания того, что история маргиналов и отклонений от нормы говорит не только о себе, но и о норме, а также из понимания того, что лиминальные пространства и личности часто оказывают большое влияние на культуру. Исследование процессов, которые происходят на межнациональных границах или на окраинах городов, изучение нетипичных биографий женщин, рабочих и самых разных людей, которые конструируют свою идентичность на фронтах повседневности, помогли лучше понять, как устроена нация, как развивается динамика городской жизни, какие возможности и ограничения порождает гендер или класс. Эти исследования весьма основательно пошатнули убеждение, будто истина пребывает на стороне социальных групп и будто для понимания прошлого (и настоящего) нужно изучать наиболее типичные и репрезентативные случаи¹⁵.

Тех людей, о которых пойдет речь, лучше всего характеризует слово «странные». Их идентичность даже в собственных глазах была отмечена инаковостью. Берясь за перо, чтобы поведать свои мысли и чувства о внешнем и внутреннем мире, они проявляли и подпитывали свою странность как в качестве рабочих, так и в качестве писателей. Это симптоматичная странность, поскольку она затрагивает принципиальные границы, существовавшие в общественной жизни в наиболее бурный и драматичный период истории России, а именно: границы между физическим трудом и интеллектуальным творчеством, между народной культурой, массовой литературой и идейными поисками образованных сословий, между рутинной жизни рабочего класса и особенными биографиями одиночек, мечтателей, изгоев или вождей. Не менее важно и то, что эти писатели осваивали интеллектуальное и эмоциональное пограничье: зоны контакта и напряжения между коллективной идентичностью и личной изолированностью, социальной критикой и литературным воображением, сакральным и профанным, революционным энтузиазмом и экзистенциальной меланхолией.

Даже если мысли и чувства, выраженные рабочими писателями, принадлежат только им, все равно они представляют огромный интерес как проникнутое страстью свидетельство современников о важной исторической эпохе. Конечно, нельзя говорить об их оригинальности в чистом виде. Эти авторы неизбежно зависели от среды и от идей вокруг них. Их тексты являлись частью диалога с миром и культурой. Они не были «типичными представителями», но едва ли составляли аномалию. В сочинениях многих из них повторяются одни и те же темы (скорее вследствие одинакового жизненного опыта и одинакового круга чтения, чем вследствие взаимного влияния) – это показатель того, что их отношения с окружающим миром соответствуют определенной модели. В конце концов, их тексты очерчивают «горизонт возможного»

¹⁵ См., например, [Scott 1998; Ranciere 1989; Levi 1991: 93–113; Ginzburg 1982; Davis 1995]. Категория лиминальности, а также жизнь лиминальных личностей и их культурная роль, подчас весьма важная, лучше исследованы антропологами, чем историками.

внутри большой культуры, демонстрируют типы мышления простых людей (и не только простых), следы которого иначе утратились бы [Ginzburg 1982: 128].

Кроме того, эти специфические и даже странные тексты напоминают нам о многообразии того, что именуется массовой культурой или сознанием рабочего класса. Хотя в своей среде рабочие писатели были скорее чужими, чем своими, в то же время они выступали как лидеры и выразители своего класса, и эта роль им выпала по той же самой причине: следуя за своей страстью, они открыли для себя иной мир. Несмотря на всю их маргинальность – а в действительности благодаря ей – их слова и поступки оказывали влияние на окружающих. Не менее важно и то, что их пример помогает нам избавиться от стереотипных представлений о том, как мыслит или способен мыслить рабочий человек, о том, что он думает о классах или о социализме, о личности, модерности и сакральном. Как будет видно из дальнейшего, инакомыслие обнаруживается даже у, казалось бы, «сознательных» рабочих. Моя цель – пролить новый свет на известные истории и обнаружить в них новое.

Эмоции, субъективность, воображение

Вопрос об эмоциях, особенно в их соотношении с ценностями и моралью, играет значительную роль в моем исследовании образа мыслей простых людей. Очевидно, что это нелегкий предмет для исторического анализа. Довольно трудно сформулировать и эксплицировать представления и ценности давно умерших людей, которых не спросишь об их чувствах и настроениях. Однако, невзирая на все сложности, следует признать, что эмоции являются важнейшей составляющей *смыслов*, которую нужно принимать во внимание, если мы хотим понять прошлое. Возможно, благоразумнее было бы не стараться проникнуть в глубинные слои сознания, имея в своем распоряжении только письменные источники. И все же благоразумие не отменяет того очевидного факта, что опыт и деятельность человека состоят не только из рациональных убеждений, но и из эмоций, не только из этических принципов, но и из нравственной восприимчивости – из того, что сами пролетарские авторы называли «жизнеощущением» или «эмоциональной стороной идеологии». Идеи и эмоции или смыслы и чувства взаимодействуют в сложном, но плодотворном диалоге¹⁶.

Многие европейцы с конца XVIII века стали рассматривать эмоции как фактор первостепенной важности, который играет определяющую роль в формировании личности, духовного мира и добродетели; подобное воззрение стало частью великого интеллектуального переворота, упрощенным результатом которого стало понятие романтизма¹⁷. Большинство образованных европейцев рассматривали правдивость, особенно в вопросах нравственной жизни, как обязательное прислушивание к внутреннему голосу, который скрыт в глубине личности, и считали, что чувства и страсти – тот ключ, который открывает глубочайшие и универсальные истины о человеческой душе. Как следствие проекта «самопознание через чувство», эмоции и выражение аффектов ценились крайне высоко. За этим подходом просматриваются, конечно, давние традиции – например, христианские представления о душе и ее страстях – и еще более давние античные представления о том, что эмоции играют главную роль в риторике и этике, а также являются источником и смыслом возвышенного. Романтизм развил эти представления гораздо дальше, разработал их в систему, которая уточняет место эмоций в жизни человека и проясняет связь между эмоциями и концепцией «внутреннего человека». В результате огромное значение приобрело искусство как форма коммуникации, как средство выражения тех откровений внутреннего человека, которые в нем совершают, сплетаясь, размышление и чувство, и как «могучее излияние сильных чувств» (если использовать известное определение поэзии, данное У Вордсвортом)¹⁸.

В сердцевине этого сложного сплетения эмоций, ума и размышления находится воображение как внутреннее творческое начало, из которого рождаются произведения искусства (в том числе и прежде всего творения авторов, почти не имеющих образования). Для теоретиков романтизма, таких как У Вордсворт, С. Кольридж, Ф. Шеллинг, воображение представляет ту самую сферу, где чувство встречается с разумом, внешний мир – с внутренним значением, бесконечный космос – с конечной личностью. Воображение, заявляют теоретики романтизма, и есть та сила, которая синтезирует образы, мысли и чувства. Именно благодаря работе воображения образы мира являются не простым миметическим отпечатком конечных внешних объектов, но уникальным высказыванием, которое выражает и внутренний мир человека, и вечную

¹⁶ Изучение эмоций как социального феномена приобретает все большую популярность. См. [Sabeau 1984:45–53,94–112,170–172; Gay 1995; Zeldin 1982: 339–348; Reddy 1997]. После выхода этой книги на английском языке появилось несколько очень важных новых работ, в том числе об эмоциях в русской истории: [Reddy 2001; Ahmed 2004; Rosenwein 2006; Plamper et al. 2010; Steinberg, Sobol 2011].

¹⁷ О подходах к определению термина «романтизм» см. [Lovejoy 1948; Furst 1969; Furst 1979].

¹⁸ См. [Abrams 1953: 21–26, 54–55, 71–78; Taylor 1989: 368–390].

истину. Благодаря воображению разрешается противоречие между сознанием и подсознанием, и, следовательно, его можно считать глубочайшей и правдивейшей формой мышления [Abrams 1953: 22, 54–55, 119, 130, 169, 210; Taylor 1989: 371, 378–379, 512–513]. Русские пролетарские писатели, возможно, не знали об этой романтической традиции, но, вероятно, были знакомы с ее глубокой разработкой в русской литературе XIX века. Как бы то ни было, влияние ли перед нами или просто отголоски, но нельзя не заметить сходство в духовном настрое. Мои усилия по реконструкции «воображения» русских пролетарских писателей нацелены как раз на это взаимодействие между внешним и внутренним миром, на сотрудничество ума, размышления и эмоций.

В умонастроениях рабочих авторов заметны отблески и черного солнца романтизма, особенно скептицизма, усилившегося в постромантических трактовках эмоциональной впечатлительности. В произведениях пролетарских писателей (не ожидая этого от леворадикальных рабочих революционной поры) мы сталкиваемся с проявлениями пессимизма, тоской, экзистенциальным ощущением бессмысленности жизни и трагическим воззрением на мир. Совершенно неожиданно тут и там слышатся отзвуки голосов А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, С. Кьеркегора. Эти философы были известны в России, и их размышления о страдании, трагедии, меланхолии и темных сторонах человеческой души нашли косвенное отражение в сочинениях пролетарских писателей. Однако у нас нет убедительных оснований предполагать наличие прямого влияния, и доказать его очень сложно. Круг чтения рабочих писателей формировался случайно и часто не отличался глубиной содержания. С уверенностью можно говорить лишь о внешнем сходстве. Однако есть и существенное различие. Рабочим писателям никак не удавалось усвоить присущее многим романтикам и постромантикам умонастроение, которое позволяло им находить в трагедии источник вдохновения, в меланхолии – источник наслаждения, в мировом и личном страдании черпать «мечтательность и сладострастную печаль» [Mornet 1912; цит. по: Taylor 1989: 296]. Переживание трагизма и меланхолии, которое обнаруживается в сочинениях пролетарских писателей, носит скорее острый этический характер: эстетизацию страдания заменяет протест, подчас подспудный, против несправедливости мира. Пролетарские авторы не были способны подвергнуть свое восприятие страданий абстрагирующей переработке: возможно, им не хватало образования, возможно, их слишком подавляли тяготы повседневной жизни. Каковы бы ни были причины, им не удавалось осуществить утешительную трансформацию своей меланхолии в «сладострастную печаль», и они приходили либо к участию в протестном движении, либо к философской и эмоциональной тошноте (пользуясь более поздним выражением экзистенциалиста Ж. П. Сартра, назвавшего так свой роман).

Амбивалентность и неоднозначность

Проблема амбивалентности и неоднозначности препятствует ясному пониманию и описанию того, что рабочие авторы думали и чувствовали по поводу личности, модерности и сакрального. Если кратко, то под амбивалентностью я разумею такой способ мышления о мире, понимания и чувствования мира, который является неустойчивым и даже противоречивым по своей сути. Неоднозначность есть форма проявления амбивалентности, а также особенность восприятия и свойство мира как такового, содержащего в себе неразрешимые противоречия, что неизбежно и закономерно порождает амбивалентность и неопределенность. Конечно, такая формулировка упрощает понятия, природа которых сопротивляется упрощению.

Вообще говоря, термин «неоднозначность» (ambiguity) используется в лингвистике и литературоведении. Классическое определение неоднозначности дал В. Эмпсон: это «оттенок слова», который «позволяет одной и той же единице языка вызывать различные реакции» [Empson 1947: 1]. Впоследствии литературоведы уточнили определение неоднозначности: это выражение, которое требует выбора между различными значениями, но не дает аргументов в пользу того или иного выбора [Rimmon 1977]. Хотя эти определения относятся непосредственно к языку, их можно трактовать в феноменологическом плане, применяя к внешнему миру, который язык и литература стремятся описывать: мир, который лежит за пределами текста, по природе нестабилен и по смыслу противоречив.

Весьма характерно, что вплоть до XX века неоднозначность рассматривалась как нечто вредное, как помеха. Она считалась препятствием на пути к ясному пониманию реальности, которая объявлялась логичной и познаваемой. За негативной оценкой неоднозначности просматривается модернистское стремление к упорядочиванию и контролю, хотя корни этого неприятия уходят в далекое прошлое. В эпоху Античности стоики критиковали неоднозначность за то, что она мешает ясному выражению мыслей и, следовательно, противоположна истине [Atherton 1993]. В Новое время критики и философы крайне настойчиво советовали при выражении мыслей в речи или на письме избегать неоднозначности, поскольку она есть «зло и искажение» [Puttenham 1589, цит. по: Оргг 1991: 34]. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «неоднозначность» стало использоваться в английском языке примерно во второй половине XVI века; неоднозначность считалась либо преградой на пути к истине, которая, как все верили, логична, умопостижима, непротиворечива и целесообразна, либо, что еще хуже, средством сознательного запутывания, введения в заблуждение и потому подлежала осуждению с моральной и эпистемологической точек зрения. Социальная мысль Нового времени была склонна придерживаться той же распространенной точки зрения на неоднозначность. Одна из определяющих черт западной социальной теории (включая новорожденные общественные науки) с XVII века до начала XX века – это настоятельная потребность рассматривать человеческое общество с позиций «сугубой однозначности» [Levine 1985]. Модернистские теории управления государством (включая

революционные течения) также отказывались признавать неоднозначность, отдавали предпочтение эстетике упрощения, прозрачности и порядка, свойственной «высокому модернизму», движимые навязчивой потребностью придать обществу и природе «внятность и разборчивость» [Scott 1999]¹⁹, а также решимостью «очиститься от амбивалентности» во имя «универсальности, гомогенности и прозрачности» [Bauman 1991: 120].

Жизнь в эпоху модерна, безусловно, никогда не была на самом деле такой уж простой, упорядоченной и понятной. Напротив, дискурс упорядочивания в известной степени обязан

¹⁹ Схожие аргументы приводит и Мишель Фуко в своих работах, но Скотт уделяет больше внимания нереализуемости модернистского проекта «надзирать и контролировать» и его провалу.

своим появлением желанию взять под контроль и даже отрицать нарастающую неопределенность, текучесть, непредсказуемость окружающей реальности. Вместе с тем мысль Нового времени всегда оказывала сильное сопротивление подобному отрицанию амбивалентности. И такие гуманисты эпохи Возрождения, как Мишель Монтень, и такие знатоки современной жизни, как Шарль Бодлер, и художники *fin-de-siecle* (включая, конечно, русских футуристов и символистов) – все они умели разглядеть в жизни неоднозначность, парадокс, неопределенность и извлечь из них удовольствие. В начале XX века вопреки течениям, преобладавшим в общественных науках, в гуманитарных науках и культурологии росло осознание того, что необходимо признать и понять амбивалентность, неоднозначность и недетерминированность. В частности, постмодернистская и постструктуралистская мысль в своем философствовании исходила из представления о беспорядочной текучести и неопределенности современной жизни и постепенно отказывалась от веры в возможность преодоления неоднозначности. Литературоведы начали настаивать на предельной «недетерминированности» текста и невозможности его однозначного толкования. В воззрениях на общественное устройство постмодернистские и постструктуралистские теории аналогичным образом отвергали характерный для модернизма соблазн обманчивой веры в монистический, упорядоченный, однозначный мир и настаивали на том, что в мышлении людей, в их общении и деятельности присутствие амбивалентности, неоднозначности, поливалентности, недетерминированности и противоречий является неизбежным²⁰. Подобные размышления отражаются в таких определениях модерности, которые подчеркивают ее эфемерный и контингентный характер, отмечают неупорядоченность современных социальных «практик»: преобладание в них бриколажа, пластичности, разрыва с традицией и случайности, – а также указывают на то, как сложные и подчас нестандартные способы использования и усвоения культурных и тому подобных парадигм привносят всепроникающую неоднозначность в социальную и культурную жизнь [Certeau 1984: xiii, xv–xvi]. В области исторических исследований также растет признание того, как важно учитывать роль, которую в установках людей и в их культурной деятельности играют такие факторы, как амбивалентность и неоднозначность, «недетерминируемая множественность» и «гибридная идентичность», «многоголосие» текстов и других дискурсов, нестабильность значений, которые люди приписывают своим социальным ландшафтам. Если историки стараются постичь такие мотивационные и перцептивные категории, как нравственность, удовольствие, желание и страх, они тем более вынуждены признавать противоречивость и нестабильность смыслов²¹.

Русские и советские марксисты разделяли свойственное Новейшему времени влечение к упорядочиванию, простоте, чистоте и ясности как в эстетике, так и в политике (содержательное обсуждение «очищения» как ведущего нарратива революции, с отсылками к предложенной Бауманом концепции «мечты о чистоте», характерной для модерности, и к предложенной Скоттом концепции «разборчивости», см. в [Clark 1995: 3, 56–57, 60–62, 66, 69, 84, 209–211, 252, 290]). Многие стремились зарождающуюся социалистическую культуру в буквальном смысле «очистить от амбивалентности». Влиятельные чиновники от культуры постоянно напоминали пролетарским писателям, что в советской литературе нет места для «сомнений», что в пролетарской культуре «нужна ясность, четкость, твердость, выкованность, а не бесконечная неопределенность» [Полянский 1918: 42–43; Полянский 1925: 262]. Неудивительно, что ведущий марксистский литературный критик заявлял (с явным беспокойством и раздражением), что пролетарский писатель «не может и не должен знать раздвоения» [Родов 1920: 23]. С марк-

²⁰ Обсуждение этого вопроса см. в [Bahti 1986: 211–223; Graff 1995: 163–185; Dirks et al. 1994: 17–22; Bauman 1991b: 231–245; Kruse, Stadler 1995].

²¹ См., например, [Ranciere 1989: 73, 86, 175, 185, 271, 376; Davis 1983: 40–41, 47, 51; Walkowitz 1992: 10, 48–49, 56–57, 80, 85, 93; Ludtke 1995: 9, 16–17]. Предвосхищая эти рассуждения и подходя довольно близко к предмету данной книги, М. Бахтин подробно разработал концепцию «многоголосия» как свойства коммуникации: неотъемлемая диалогичность заложена в природу дискурса и в его отношения с миром. См. [Holquist 1990].

систской точки зрения, для успеха революционного движения требуется прочный, стабильный и мотивирующий набор мифов и идей, вселяющий уверенность в будущем. Рабочим писателям, как передовым представителям культуры пролетариата, объявленного новым правящим классом, особо вменялось в обязанность выражаться правильно и ясно. Идеологам-марксистам, к их огорчению, приходилось признать, что многие пролетарии страдают «мучительной раздвоенностью» [Воронский 1924: 136]²², особенно в том, что касается таких важнейших вопросов, как смысл и цель жизни, направление развития.

Пролетарское воображение, которое исследуется в данной книге, содержит изрядную долю инакомыслия, с точки зрения рабочего класса и социалистической культуры. Девиантное поведение пролетариата могло принимать самые разные формы, включая незаконные апроприации и акции сознательного протеста против монархии и капитализма, а подчас и против нового, коммунистического режима. Но история состоит не только из протеста и сопротивления. Важное место в ней занимают сомнения, раздвоенность, неразрешимые противоречия. И в этом смысле, как и во многих других, эти странные писатели превращаются из маргиналов в довольно типичных представителей своего времени. Будучи «народной интеллигенцией», они представляли ту «часть трудящегося населения, которая живет сознательной жизнью, ищет правды и духовной красоты в мире» [Шведская 1915: 16]. Будучи пролетариями, они, по мнению большинства современных им радикалов и марксистов, просто обязаны были отыскать правду и красоту и черпать из них оптимизм и веру. Им не полагалось страдать от тоски и сомнений, как принято у буржуазной интеллигенции. Однако, как и многим людям в России (образованным и не очень), этот путь оказался им не по силам. Великая перспектива современного прогресса постоянно ускользала у них из вида, и они сбивались с пути.

²² См. также [П. И. М. 1925: 277].

Глава 1

Культурная революция: становление пролетарской интеллигенции

Кружок... стремится и к объединению народной интеллигенции, интеллигенции, вышедшей из глубины народной жизни силою своего духа... Это видно, что болеть болезнями народа, плакать его слезами, а также радоваться его радостями – могут только люди, переживавшие все прелести бесправной жизни.

Друг народа, 1915

Интеллигент же может еще думать за симпатичный ему молодой [рабочий] класс, но чувствовать за него он не может.

Федор Калинин, 1912

Культура стала тем полем битвы, на котором разыгрались горячие сражения в весьма насыщенный и мучительный период истории России: начиная с революции 1905 года и включая первые годы социалистической революции. Большая часть личной и публичной жизни неразрывно связана со смыслом и содержанием культуры: с концепциями личности и общества, нормами частной и гражданской морали, проектами усовершенствования общественного устройства, вопросом о соотношении между правами человека и полномочиями власти. Самые разные люди в России: чиновники, реформаторы, общественные деятели, педагоги, журналисты, писатели и революционеры – стремились, каждый своим путем, к общей цели – привести жизнь в России в соответствие со своими представлениями о культуре, полагая, что она не конструируется произвольно, но имеет объективное ядро, которое необходимо обнаружить, описать и сделать для всех критерием общего блага. При этом риторика и аргументация относительно того, что такое культура, менялась с течением времени. До 1917 года речь шла в основном о содействии «умственному и нравственному развитию» страны и народа. После революции 1917 года среди новых вождей и общественных деятелей возобладали мечты о «культурной революции» и более радикальные проекты развития и распространения новой, преобразующей мир «пролетарской культуры». Но при всем различии этих намерений они имели общую предпосылку: убеждение, что культура имеет огромное значение, что эта, казалось бы, призрачная область коллективных знаний, мнений, ценностей, вкусов и практик играет ключевую роль в изменении (или сохранении) социально-политических структур и отношений.

Борьбу, которая велась из-за культуры, историки исследуют, обычно принимая во внимание только взгляды и действия активных элит. Гораздо реже ставится вопрос о том, как деятельность элит отражалась на обычных гражданах, как смысл проводимых мер воспринимался и усваивался целевой аудиторией. При этом история культурного строительства, культурной борьбы и культурной революции чрезвычайно осложняется участием личностей, которые размывают грань между носителем элитарной культуры (или деятелем культурной революции) и восприимчивым к подобному просвещению представителем низовой культуры, между интеллектуалом и необразованным простолюдином, между производителем и потребителем культуры. Эти люди бросали вызов общепринятым представлениям о том, как думают и чувствуют низшие классы российского общества, и особенно о том, как им думать и чувствовать положено. Во время культурных сражений тех лет: борьбы с «темнотой» народа, а также споров о том, какая культура ему нужна, – думающие выходцы из низов подвергали сомнению привычную повестку дня. Самый факт их существования подрывал однозначный нарратив, кто

управляет культурой и выражает ее. И эти люди остро осознавали смелость своих устремлений и собственное право на самовыражение. Осмысляя личный опыт и процесс преодоления ограничений, накладываемых социальным классом и уровнем образования, они предлагали свое решение вопроса об источниках познания и смыслов, свое видение культуры как критерия общего блага и как средства преобразования.

Современники отмечали появление «интеллигенции», которая состоит не из образованной элиты, а из малообразованных городских рабочих. Новизна и необычность этой социальной группы отразились в разнообразии наименований, которые приходилось изобретать для ее обозначения: «рабочая интеллигенция» – этот термин предпочитали марксисты; «народная интеллигенция» – этот термин предпочитали народники и социалисты немарксистского толка; кроме того, в ходу были обозначения «передовые рабочие», «мыслящие рабочие», «интеллигентные рабочие» и «рабочие-интеллигенты». Использование термина «интеллигенция» свидетельствует о той роли, которая предназначалась новой социальной группе, так как интеллигенция – одно из самых нагруженных смыслами и ассоциациями понятий в истории русской культуры, которое обозначало, особенно в трактовке противников существующего строя, людей не столько высокообразованных, сколько сознательных и нравственно ответственных, которые в конце концов выведут Россию из состояния отсталости и несвободы. Народники и марксисты заговорили о существовании подобных рабочих еще в 1870-е годы и неизменно старались таковых распознавать, привечать и обучать²³. Однако гораздо заметнее эта прослойка стала после 1900 года, и особенно после революции 1905 года. Прежде всего это можно объяснить увеличением численности и возросшим присутствием в публичном поле благодаря объединениям рабочих. Кроме того, образованные россияне стали уделять рабочим больше внимания, поскольку деятели и правых, и левых взглядов были обеспокоены угрожающе низким уровнем культуры в низших классах, а в условиях нарастания репрессий в 1907 году культурно-просветительская работа заменяла ставшую невозможной оппозиционную политическую деятельность. Наконец, эти интеллектуалы из низов стали более заметным явлением потому, что настаивали на своем праве быть услышанными, на уникальности и необходимости своей точки зрения. Возникновение протонародной интеллигенции было в определенном смысле культурной революцией, и она осложнила все прочие революции.

²³ Особого внимания заслуживают [Плеханов 1902; Zelnik 1972; Zelnik 1999].

Определение рабочей интеллигенции

В 1913 году литературовед-марксист Лев Наумович Клейнборт опубликовал в социал-демократическом журнале «Современный мир» серию статей, посвященных, как он выражался, «рабочей демократии» – под этим термином он понимал голоса рабочих, которые все громче звучали в обществе, особенно в пролетарской прессе, и которые он определял как голоса формирующейся «рабочей интеллигенции» или «интеллигенции из народа»²⁴. К этой категории относились общественные активисты, члены профсоюзов, участники подпольных учебных кружков, литераторы, поэты и прозаики. Многие представители рабочей интеллигенции объединяли в одном лице все эти роли, по крайней мере в течение какого-то времени. Писали практически все. Действительно, публичное письменное высказывание является отличительным признаком народной интеллигенции. В 1890-е годы Н. А. Рубакин, ведущий исследователь народного чтения в России, обратил внимание на то, что среди крестьян и рабочих появилась тенденция вступать в более активные отношения с письменным словом и становиться «писателями-самоучками» [Рубакин 1895: 167–182, 202–214]. После 1905 года присутствие в культурной жизни России подобных авторов, чаще поэтов (поэтический жанр лучше знаком народу, легче для восприятия и более краток), становится постоянным.

Мы не знаем, сколько сотен или тысяч русских рабочих от случая от случая брались за перо, набрасывая на бумаге несколько поэтических строчек или сочиняя рассказ, и даже какое число их публикаций появилось по всей стране в изданиях, которые печатали непрофессиональных авторов. Мы знаем только, что Н. А. Рубакин между 1891 и 1904 годами собрал в своей личной коллекции множество сочинений разного жанра, авторами которых были более 1000 рабочих и крестьян [Рубакин 1906: 239]. Мы знаем, что между 1905 и 1913 годами почти каждый номер профсоюзной газеты или газеты социалистической партии включал несколько стихотворений авторов, которые называли себя рабочими; при этом в редакции газет поступало произведений гораздо больше, чем попадало на их страницы, и некоторые – от едва грамотных рабочих²⁵. Известно, что до 1917 года Максиму Горькому, самому известному и успешному «писателю из народа», написали сотни начинающих авторов – самоучек со всей страны; это были, как правило, рабочие и крестьяне, но также ремесленники, торговцы, повара, горничные, проститутки, прачки и т. д., которые обращались к Горькому за отзывом на свои произведения, за советом или помощью (и часто с просьбой прислать несколько рублей на покупку книг). В очерке о писателях-самоучках, написанном в 1914 году, Горький сообщил, что к нему обратились 348 человек (их письма, как и многие другие, хранятся в архиве М. Горького, собрание КГ-НП, раздел «Корреспонденция Горького с начинающими писателями»). Когда в 1913 году Горький со своим издателем объявили о приеме работ для первой антологии пролетарских писателей, то за три месяца было получено 450 рукописей от 94 авторов²⁶. В течение 1917 года в правительство, в советы депутатов и в другие учреждения поступили от простых граждан, помимо сигналов и жалоб, сотни стихов о революции [Steinberg 2001].

О большинстве представителей рабочего класса, которые стремились к творческому самовыражению в стихах или прозе, известно не очень много (и даже меньше, чем об авторах из крестьян). При этом значительное число рабочих авторов писали активно, целеустремленно и сумели оставить память о своем труде и жизни. В моих материалах числятся более

²⁴ См. [Клейнборт 1913a-f; Клейнборт 1914a, б]. Эти и некоторые другие дореволюционные статьи, наряду с новыми очерками Клейнборта, вошли в двухтомник 1920-х годов [Клейнборт 1923].

²⁵ См. неопубликованные рукописи стихов, присланных в большевистскую газету «Правда» накануне Первой мировой войны в РГАСПИ. Ф. 364. Оп. 1. Д. 202. Л. 6-60 об, в том числе стихотворение о пекарях, написанное корявым почерком с большим числом орфографических ошибок.

²⁶ Первый сборник пролетарских писателей вышел в Санкт-Петербурге в 1914 году.

150 регулярно публиковавшихся рабочих авторов, о которых имеются отрывочные биографические сведения, и 62 автора, чьи биографии известны подробно (в библиографии приводятся основные источники: архивы, периодика, публикации, – на основе которых собраны эти сведения). Такая выборка ограничена и моим решением, и внешними обстоятельствами. Что касается моего решения, то я хотел исследовать образ жизни и образ мыслей определенной категории людей в определенную эпоху, поэтому меня интересовали конкретно те рабочие писатели, которые отвечают следующим требованиям: на момент революции вполне сформировались, начали писать до 1917 года, занимались наемным трудом, проживали в центральной части империи, писали на русском языке. Эта выборка, однако, в свою очередь ограничена внешними обстоятельствами: это уцелевшее далеко не случайным образом собрание является частью более обширной и богатой картины²⁷. Жизнеописания этих людей проливают яркий свет на генеалогию интеллектуалов из рабочей среды, а также на культурную и социальную атмосферу того времени. Задуматься над их жизнью весьма полезно: ведь жизнь рабочих писателей была одновременно и типичной и необычной. С социологической точки зрения рабочее писатели представляли незначительную группу. В целом они были более урбанизированы, мобильны, образованны и политически активны, чем большинство рабочих, но это отличие не являлось столь уж радикальным. Родившись в эпоху стремительных социокультурных изменений, быстрой индустриализации и урбанизации, политического брожения, эти люди отражали текучесть своего времени, будучи одновременно представителями своего времени и выделяясь из общей массы рабочих.

Как и большинство рабочих в России начала XX века, по своему рождению рабочие писатели обычно происходили из крестьян, хотя процент рожденных в городе среди них был выше среднего (точных и полных сведений о происхождении российских рабочих нет, но из имеющихся данных следует, что процент рожденных в городе среди рабочих в целом ниже, чем среди рабочих писателей. См. [Bonnell 1983; Волин 1989:255–260,286–293; Рашин 1958: 404–453]). Из тех рабочих писателей, о которых имеются подробные сведения, в деревне родились чуть более половины (33 человека из 62). Что касается оставшейся части, то половина – уроженцы маленьких провинциальных городов, а половина – уроженцы крупных городов, среди которых Санкт-Петербург, Москва, губернские центры Смоленск, Орел, Воронеж, Пенза, Харьков, Екатеринославль, Казань, Томск и т. д. Большая часть происходивших из сельской местности родилась не в традиционных крестьянских семьях, что не лишает их типичности. Экономические и социальные сдвиги, менявшие Россию, уже настолько преобразили сельскую жизнь ко времени их рождения, что патриархальный образ крестьянина-земледелца остался в прошлом [Worobec 1991; Engel 1994; Burds 1998; Frank 1999]. У более чем половины рабочих писателей, происходивших из сельской местности (20 человек из 33) отцы или даже оба родителя зарабатывали на жизнь не только и даже не столько земледельческим трудом. Отцы либо работали в городе на предприятиях и курсировали между городом и деревней (иные в конце концов перевозили свои семьи в город), либо работали вне города, но по найму, и среди них встречаются: каменщики, железнодорожники, пекари, церковный сторож, извозчик, грузчик, садовник, сапожник, ткач, стекольщик, кожевник, продавец и т. д. У некоторых отцы умерли очень рано, что вынудило их матерей с детьми покинуть деревню и, чтобы выжить, искать заработка в городе. Весьма вероятно, что ранний опыт тесного соприкосновения с городской и промышленной средой побудил этих людей отказаться от традиций крестьянского образа жизни. Однако подобный опыт в России той поры также не являлся чем-то исключительным.

²⁷ Сочинения этих рабочих пробивались в печать; кроме того, они написали подробные автобиографии, к чему их побуждал ряд факторов: интерес со стороны журналистов и признанных писателей; намерение советской власти пропагандировать и поддерживать пролетарскую литературу; собственная потребность описать свою жизнь. От этих факторов зависел и отбор автобиографического материала, и способ его подачи.

Среди рабочих писателей представлены почти все разновидности городского наемного труда, характерные для низших классов. Многие занимались довольно квалифицированным трудом, особенно если родились уже в городе или переехали в город в детстве. Больше всего среди квалифицированных рабочих числятся станочников – слесарей и токарей, а именно 14 человек из 62 (в Петербурге наблюдалось примерно такое же соотношение между станочниками и общим числом рабочих в 1902 году, а в Москве и других городах оно было ниже [Bonnell 1983: 32–33]). В небольшом количестве встречаются печатники, сапожники, плотники и ткачи, есть также один стекольщик. Однако основная часть рабочих писателей, как и рабочих в целом, была занята полуквалифицированным трудом на различных предприятиях (в кожевенном, табачном, спичечном, бумагоделательном, картонажном, переплетном, деревообрабатывающем, скобяном, металлургическом, шляпном, кондитерском, уксусном, швейном производстве). Кроме того, работали они приказчиками в конторах, помощниками продавцов в магазинах, где торговали самым разным товаром – от овощей до книг, – а также в булочных, столовых, чайных и на шахтах. Некоторые трудились на железной дороге, плавали на баржах или торговых судах. Встречаются чернорабочие, каменщики, кочегары, грузчики, извозчики, парикмахеры, маляры, строители, дворники, бурлаки, садовники, пастухи, сельскохозяйственный рабочие и даже бродячие музыканты. Лица мужского пола и призывного возраста, как правило, после начала войны в 1914 году были мобилизованы солдатами на фронт.

Однако будет ошибкой – и ее часто допускают исследователи истории труда – принимать род занятий за основу идентичности. Мобильность и нестабильность – черты, которые характеризуют трудовой путь многих рабочих писателей и более широких слоев рабочего класса. Лишь малая часть рабочих, наиболее квалифицированная, всю взрослую жизнь занималась одним делом. Среди большинства, напротив, наблюдается тенденция к частой смене работы: кого-то увольняли за участие в забастовках или политических акциях, но чаще рабочие увольнялись сами по личным причинам. Многие подолгу оставались безработными и скитались по стране в поисках то ли новой работы, то ли новой жизни, а иногда новых впечатлений. Некоторые начинали свою историю скитаний еще в детстве, когда семья покидала родную деревню ради заработка – часто после смерти кормильца²⁸. Некоторые из этих писателей, прежде всего участники социалистического движения, имели опыт работы за границей, в Западной Европе. Сложно привести цифры, демонстрирующие распространение мобильности, связанной с переменой места работы и места жительства – этот вопрос требует дальнейшего изучения. Но нет сомнения, что подобная практика не являлась исключением, особенно в период промышленного роста, начиная с 1890-х годов до первой половины 1900-х. Например, анализ состояния рабочей силы в полиграфической промышленности свидетельствует о частых переходах с места на место и о высоком уровне скитальчества, особенно среди высококвалифицированных и образованных наборщиков [Steinberg 1992: 85–86]. Насколько типичным для рабочей среды было такое поведение, можно только предполагать. Вполне вероятно, что высокий уровень явно добровольной мобильности среди рабочих, которые увлекались писательством, обусловлен их личной спецификой и является еще одним проявлением той загадочной стороны их личности, которая и побуждала их выходить за рамки повседневности и своей идентичности и писать. И все же мобильность была свойственна не только им. Биографии рабочих писателей не только проясняют тот механизм, который превращал рабочего в писателя, но и напоминают о неточности и ненадежности тех ярлыков, которыми часто характеризуют людей из низших классов в прошлом: городской, сельский, квалифицированный, неквалифицированный, металлист, печатник.

²⁸ Поражает тот факт, что из 17 наиболее крупных пролетарских писателей, о которых потому имеется больше всего сведений и чьи краткие биографии приводятся в приложении, в раннем возрасте семеро остались без отцов, а именно: Александровский, Ерошин, Ганьшин, Калинин, Кириллов, Маширов, Орешин.

Еще одна особенность рабочих писателей, которую тем не менее они делили со многими представителями низших классов, не собиравшимися идти в писатели, это стремление к политической активности – очевидный интерес к общественным проблемам, который сопровождался и, вероятно, порождался желанием, чтобы их слово было людьми услышано. Две трети рабочих писателей, о которых имеются подробные биографические сведения (41 человек из 62), сообщали, что они вступили в те или иные левые политические организации до 1917 года или по крайней мере участвовали в политических демонстрациях и забастовках. Большая часть политических активистов состояла в Российской социал-демократической партии (РСДРП) до 1917 года (и в большевистской, и в меньшевистской фракциях, хотя большевики незначительно преобладали). Имелось также несколько социалистов-революционеров неонароднического толка и анархистов. Достоверность этих сведений, безусловно, вызывает сомнения, учитывая политическую обстановку, в которой они получены (основную часть биографических сведений сообщали после 1917 года люди, которые продолжали вести общественную жизнь, так что естественный отбор осуществлялся в пользу тех, кто был наиболее активен и про-большевистски настроен. Кроме того, политическая атмосфера после 1917 года подталкивала рабочих, даже если они до той поры не отличались особой активностью и пробольшевистским настроением, редактировать свое прошлое в правильном свете, если они хотели принимать участие в общественной жизни, оставить наемный труд и сделать карьеру в сфере культуры). При этом не вызывает сомнений, что многие рабочие писатели действительно отличались политической активностью, даже если не до тонкостей разбирались в различиях между фракциями и партиями (эти различия, судя по всему, историкам сегодня кажутся куда более важными, чем казались самим рабочим в то время). Почти половина политических активистов сообщила, что они пострадали из-за своей политической деятельности – подверглись аресту, тюремному заключению или ссылке. Только малое число (семь человек из 62) занимались профсоюзной работой, что, возможно, объясняется тем, что многие не состояли ни в каком профсоюзе, а подчас профсоюзы просто отсутствовали там, где они работали. В то же время около трети рассматриваемых рабочих писателей участвовали в различных дореволюционных организациях, объединявших подобных «писателей из народа», а некоторые редактировали журналы, предназначенные для читателей из народа – это обстоятельство наводит на мысль, что коллективная идентичность строилась скорее на основе культурных, чем социальных ролей. После 1917 года почти половина этих авторов-рабочих вступила в Пролеткульт, и многие стали профессиональными писателями. Во многих отношениях революция возвысила их, пролетарская гегемония и пролетарское творчество были включены в государственную политику; при новом общественном устройстве пролетарским писателям доверили играть важные политические и культурные роли: они получили посты редакторов журналов, руководителей местных и всероссийских отделений Пролеткульта, служащих Наркомата просвещения и профсоюзов, чиновников местных партийных и писательских организаций.

Важнейшая черта, которая отличает рабочих писателей, – это грамотность. После освобождения крепостных крестьян в 1861 году грамотность населения Российской империи стала быстро расти, однако в тот период, на который пришлось взросление рабочих писателей, большинство населения страны оставалось все еще неграмотным²⁹. Обобщенные данные, однако, затушевывают крайнюю неравномерность распределения грамотности среди низших классов. Подобная неоднородность позволяет точнее описать среду, из которой вышли рабочие писатели. Главным дифференцирующим признаком являлся гендер. У мужчин было в два раз больше шансов обучиться чтению и письму, чем у женщин. Согласно первой всеобщей переписи населения, проведенной в 1897 году, в Российской империи среди женщин было только

²⁹ Грамотность населения в 1860-е годы составляла около 6 %, в 1897 году выросла до 21 %, а в 1913 году – до 28 %. См. [Рашин 1958: 284–311].

13 % грамотных, в то время как среди мужчин – 29 %, а в европейской части России и того больше – 33 %; уровень же грамотности среди женщин практически не менялся, составляя 13,6 %³⁰. Социальная принадлежность также являлась важным фактором, влиявшим на грамотность, и среди городских рабочих грамотных было больше, чем среди крестьян. В европейской части России в 1897 году только 17 % крестьян умели читать (25 % мужчин и 10 % женщин), а среди работников, занятых в промышленности и торговле, грамотных было 54 %, т. е. 58 % мужчин и 28 % женщин³¹. Аналогичным образом, внутри одной отрасли те специальности, которые требовали более высокой квалификации, подразумевали более высокий уровень грамотности: в металлопромышленности, например, среди токарей и слесарей было больше грамотных, чем среди кузнецов или чернорабочих [Рашин 1958: 590].

География также сказывалась на уровне грамотности. Близость к крупным городским промышленным центрам империи положительно влияла на рост числа грамотных. Например, в 1897 году только 25 % мужчин-крестьян, проживавших в европейской части империи, умели читать, в то время как в Московской губернии уровень грамотности среди этой группы достигал 49 %. Даже если учитывать только тех крестьян, которые проживали в деревнях (в отличие от тех, которые перебрались в города, но официально числились крестьянами), все равно грамотность среди мужчин-крестьян Московской губернии составляла 40 %³². Среди горожан, разумеется, грамотность была еще выше. В Санкт-Петербурге в 1897 году 74 % всех рабочих мужского пола и 40 % женщин-работниц были грамотными³³. Наконец, возраст также являлся важным фактором, что коррелирует с постепенным распространением грамотности. Среди рабочих в возрасте до 20 лет в 1897 году было в полтора раза больше грамотных, чем в поколении их отцов, и в два с лишним раза больше, чем в поколении их дедов, – и эти цифры вопреки ожиданиям указывают, что отцы и деды являлись рабочими, а не крестьянами. Среди девушек-работниц грамотных было в четыре раза больше, чем среди их матерей или бабушек³⁴. В последующие годы эти цифры продолжали расти (помимо уже перечисленных источников, см. [Bonnell 1983: 57–58; Волин 1989:280–282; Brooks 1985: chap. 1]).

Аналогичные тенденции характерны для распространения школьного образования³⁵. В 1856 году, согласно официальным данным, в Российской империи имелось только 8000 начальных школ, в которых числилось 450 000 учеников (менее 1 % населения, хотя в школьном возрасте находилось 9 %). Спустя 40 лет в 1896 году число школ увеличилось в десять раз, число учащихся – более чем в восемь раз и составляло 3,8 млн человек (более 3 % населения, т. е. примерно треть детей школьного возраста). В 1911 году школу посещали 6,6 млн детей (4 % населения, или почти половина детей школьного возраста). За этими обобщенными данными, как и в случае с грамотностью, скрывается неравномерность распределения. В конце XIX века мальчики, проживавшие в городах или промышленных районах, как правило, получали начальное образование. В центральных и северных промышленных губерниях школу посещали 69–87 % детей школьного возраста в 1915 году, причем среди мальчиков эта

³⁰ См.: Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения. СПб., 1905. С. 39; а также [Рашин 1958: 308].

³¹ См.: Численность и состав рабочих в России на основании данных первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. СПб., 1906. Т. 1. С. 10–17, табл. 3.

³² См.: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб., 1905. Т. 24. С. 63.

³³ См.: Численность и состав рабочих в России на основании данных первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. СПб., 1906. Т. 2. С. 16, табл. 3; а также [Бернштейн-Коган 1910: 64].

³⁴ Что касается рабочих европейской части империи, то в 1897 году грамотность среди лиц мужского пола в возрасте 15–16 лет составляла 73 %, в возрасте 20–39 лет – 58 %, в возрасте 40–59 лет – 43 %, в возрасте старше 60 лет – 35 %. Среди женщин тех же возрастных категорий грамотность составляла соответственно 47 %, 22 %, 12 %, 15 %. См.: Численность и состав рабочих в России на основании данных первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. СПб., 1906. Т. 1. С. 10–11, табл. 3; а также [Бернштейн-Коган 1910: 66; Рашин 1958: 310].

³⁵ См. [Eklof 1986; Brooks 1985: ch. 2; ЭСБЕ 1890–1907, 48, 400–409].

цифра была еще выше³⁶. Продолжительность обучения также постепенно возрастала и зависела от расположения, хотя уровень образования оставался низким. Даже в предвоенные годы большая часть учеников бросала школу – обычно по воле родителей – после двух или трех лет обучения. Лишь малая часть (около 11 %) оканчивала принятый в Российской империи полный четырехгодичный курс стандартной начальной школы. Около 40 % учащихся проводили в школе менее года [Рашин 1958: 318; Eklof 1986: 294, 328–341]. Следует иметь в виду, что не все школьное образование в России осуществлялось через систему учебных заведений, финансируемых государством, или разного рода официальных, полуофициальных и частных организаций, которые занимались развитием народного образования. Многих крестьян и рабочих учили писать и читать родители, родственники, учителя, нанятые семьями или сообществами, а также священники [Рашин 1958: 589; Eklof 1981: 367]. Часто представители низших классов продолжали свое образование самостоятельно, читая книги или посещая вместе с другими самоучками учебные кружки, рабочие клубы и курсы для взрослых.

При всей ограниченности школьного образования с точки зрения охвата населения и глубины знаний и несмотря на не стопроцентную грамотность населения, все же школы повлияли на жизнь миллионов представителей низших классов в последние десятилетия старого режима. Конечно, это влияние было ограниченным во многих аспектах. По мнению критиков, обучение, построенное на зубрежке, и непродолжительность времени, проводимого на школьной скамье, не позволяют говорить о глубоких познаниях тех, кто прошел школьную программу. Статистика грамотности не вскрывает различного понимания термина «грамотность», которая может означать как зачаточные навыки читать по слогам и ставить свою подпись, так и более сложные умения читать тексты различного содержания и письменно формулировать свои мысли. Очевидно, что для большинства низших сословий в России школьное образование и грамотность имели сугубо утилитарное предназначение: способствовали выполнению рабочих обязанностей, навыкам городской жизни, получению лучшей работы, ведению семейного или личного бюджета, позволяли улучшить условия военной службы, вести переписку с родственниками и, возможно, служили средством развлечения. И тем не менее столь же очевидно, что для многих простых людей грамотность являлась поводом для гордости, основанием для повышения самооценки, способом взаимодействия с миром и источником моральных идей, которые часто оказывали сильное воздействие на самовосприятие и мировоззрение людей³⁷. В биографиях рабочих писателей отражаются социальные тенденции, способствовавшие распространению грамотности и образования в низших классах России. Большинство рабочих писателей – мужчины (среди 150 авторов, которых мне удалось выявить и которые начали писать до 1917 года, было только семь женщин), они родились в крупных городах или центральных губерниях России, наиболее промышленно развитых. Многие работали в отраслях, где грамотность была высокой. Как и в целом среди грамотных представителей низших классов, источники их образования были различны. Некоторые рабочие писатели сообщали, что читать их научил родственник или грамотный знакомый, однако быстрое распространение всеобщего начального образования возымело свой эффект. Почти все рабочие писатели, о которых у нас имеются подробные сведения, посещали школу, обычно от года до четырех лет (хотя многие ходили в школу всего одну зиму, когда семье не требовалась их помощь в поле или на другой работе). Чем позже они родились, тем выше вероятность, что они посещали школу, причем в течение более длительного срока. По школам, в которых они учились, можно судить

³⁶ См. [Eklof 1986: 287, 293, 295, 310–311; Рашин 1958: 318]; также см.: НЭС, 23–128 и последующие таблицы. Центральные и северные промышленные губернии по мере возрастания числа детей 8–11 лет, обучающихся в школе, располагаются так: Новгородская – 69 %, Ярославская, Тверская, Владимирская, Калужская, Петроградская, Московская – 87 %.

³⁷ См. [Eklof 1981: 370–377; Eklof 1986; Bonnell 1983: 47–52; Zelnik 1986: 19, 64; Steinberg 1992: 113–115], а также главы 2 и главу 3 данной книги. Обзор взглядов на то влияние, которое грамотность оказывает на индивида, приводится в [Vincent 1989: 8–9].

о разнообразии начальных учебных заведений в России. Наибольшее распространение имели церковно-приходские школы, земские школы (которые управлялись полуавтономной местной сельской администрацией), городские и сельские школы Министерства образования. Но существовало и множество специальных школ – сельскохозяйственных, коммерческих, ремесленных, заводских, железнодорожных, – которые давали как общие знания, так и профессиональную подготовку. Некоторое число рабочих писателей продолжили свое образование на курсах для взрослых при воскресных школах, в вечерних школах, в «народных университетах» (например, в известном народном университете им. А. Л. Шанявского в Москве). В их биографиях нашла отражение история российского народного образования со всеми его достижениями.

Следует отметить, что рабочие писатели, как неоднократно сообщают они сами в своих воспоминаниях и рассказах, не просто выучились читать, но читали постоянно, охваченные страстью, которая граничила с манией. Они писали, потому что испытывали потребность выразить себя, поведать, что чувствуют и думают о себе и мире. Но тексты, созданные ими, чтобы выразить то, что они хотели сказать, вдохновлялись знакомством с другими текстами. Это знакомство они относят к числу наиболее важных событий своей жизни. Их воспоминания изобилуют историями о запойном чтении, о том, как они забывали (и обретали) себя в литературе, как прочитанные рассказ или стихотворение побудили взяться за перо. Многие не называют конкретно тех книг, которые читали, описывают только сам процесс чтения, – возможно, потому, что удовольствие от процесса как такового играло не менее важную роль, чем конкретный автор или жанр (к тому же после 1917 года некоторые авторы и жанры литературы попали у властей в немилость и их не стоило называть из благоразумия). Но нередко рабочие писатели упоминают и конкретных авторов, оказавших на них влияние.

Судя по этим упоминаниям, можно утверждать, что самое сильное влияние на рабочих писателей оказали поэты первой половины XIX века: Н. А. Некрасов (упоминается чаще других), И. С. Никитин – оба автора середины века, которые с сочувствием и состраданием писали об участи бедняков; первые прославившиеся «поэты из народа» – А. В. Кольцов и И. З. Суриков; главный национальный поэт А. С. Пушкин. Из авторов-современников в числе оказавших влияние часто упоминается только Максим Горький, еще один «писатель из народа», который следовал той же литературной традиции описания тягот жизни простых людей, но воплощал образы героев из низов, которые не так уж отличались от рабочих писателей, какими они себя видели: сильная, бунтарская личность, которая часто выходит за рамки общепринятых норм, сопротивляется как подавлению со стороны власти, так и рабской склонности к подчинению, характерной для массы. Помимо этих наиболее значимых авторов первого ряда, упоминаются фамилии других известных писателей – как классиков, так и современников. Из русских классиков наибольшей популярностью пользовались М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, хотя некоторые рабочие авторы читали и И. С. Тургенева, и Ф. М. Достоевского, и поэтов С. Я. Надсона, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, и, если говорить об украинцах, Т. Г. Шевченко. Из современников, помимо Горького, упоминаются (хоть и не так часто, как классики) поэты-символисты Константин Бальмонт, Александр Блок, Валерий Брюсов, прозаики-реалисты В. Г. Короленко, Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, А. Н. Толстой, А. П. Чехов, поэт-футурист Владимир Маяковский и, наконец, наиболее известные пролетарские писатели, прежде всего М. П. Герасимов, В. Т. Кириллов, В. Д. Александровский. Некоторые иностранные авторы, прочитанные в переводе, также произвели впечатление на рабочих писателей – прежде всего это их современники – поэты Уолт Уитмен и Эмиль Верхарн, из классиков – Иоганн Гёте, Фридрих Шиллер, Джордж Байрон, Генрих Гейне, а также Эдгар Аллан По, Ромен Роллан, Оскар Уайльд, Рабиндранат Тагор, Уильям Шекспир и Гомер. Среди философов и публицистов, упомянутых как оказавшие влияние, фигурируют социалисты европейской ориентации В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, марксисты Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, А. А. Богданов,

а также западные мыслители самого разного толка: Август Бебель, Фридрих Ницше, Артур Шопенгауэр. В молодости многие рабочие писатели увлекались бульварными романами, с их романтическими повествованиями о бандитах, героях, войнах и приключениях, а также Библией и житиями святых. И наконец, несколько человек сообщили, что на них никто не оказал влияния³⁸. Если не считать этого последнего проявления высокомерия, перечень популярных и любимых авторов пролетарских писателей во многом совпадал с предпочтениями остальных «сознательных» и «культурных» рабочих, что видно, например, из списков книг, выдававшихся на руки профсоюзными библиотеками и библиотеками рабочих клубов³⁹.

Эти *интеллигенты* из народа нередко выражали огорчение, что «океан темноты» отделяет их от основной массы российских рабочих⁴⁰. Подобные настроения перекликались с широко распространенным в последние годы царского режима и первые годы советской власти опасением, что большая часть городской бедноты не проявляет интереса к образованию и погрязла в невежестве, бескультурье, пьянстве, грубости, пассивности⁴¹. За этим ощущением глубокого разрыва со средой стоит своя правда. Однако не следует понимать эти сетования слишком буквально. Подобные опасения и отчужденность составляли часть самоопределения интеллигенции из низших классов, часть создаваемого рабочими писателями мифа о самих себе как о личностях, преодолевших деградацию, навязанную средой, и потому способных освободить других. Очевидно, что на самом деле они не возникли из ничего и не стояли на противоположном берегу океана народной темноты. Конечно, они не были «среднестатистическими» рабочими – хотя это понятие с трудом поддается определению исходя из имеющихся данных и вряд ли обладает большой объяснительной силой, учитывая огромное разнообразие и текучесть форм жизни рабочего класса. Безусловно, они являлись во многих отношениях замечательными личностями. Но в их биографиях отразились глобальные процессы: урбанизация и индустриализация; переселение крестьян в город (а также дальнейшее перемещение между городом и деревней); распространение образования, книг, новых идей среди низших классов; подъем социалистического движения; развитие форм самоорганизации рабочего класса; утверждение понятия «личности» и ее прав; рост внимания к голосу простого народа в публичном поле; а после 1917 года – появление новых социальных лифтов для талантливых людей из рабочего класса, этого (в теории) нового гегемона. Этот голос был полон критики, выходил за общепринятые рамки, не всегда звучал уверенно – и это тоже характеризовало эпоху. Ход истории отразился и в дальнейших судьбах рабочих писателей. Некоторые замолчали и были преданы забвению по мере того, как усиливались требования культурного единообразия в середине 1920-х годов и особенно в 1930-е годы. Другие сделали успешную карьеру в качестве писателей или чиновников от культуры. Иные были арестованы в конце 1930-х годов и расстреляны (см. Приложение).

Не существует, кажется, на свете другой страны, кроме России, где бы водилось столько рабочих и крестьянских писателей, отметил М. Горький в 1914 году⁴². Возможно, причина заключается в том, что у российских рабочих не имелось других способов выразить себя, а возможно, в том, что жизнь в России тех лет была чрезвычайно насыщенной. В любом случае поражает не только широкое распространение увлечения писательством среди российских

³⁸ Особенно информативными оказались ответы на анкету, распространявшуюся среди участников Конгресса пролетарских писателей в 1920 году, в которой имелся вопрос № 32: «Какие авторы оказали на вас наибольшее влияние?» РГАЛИ. Ф. 1638. Оп. 3. Д. 4. Л. 1-62.

³⁹ См. [Левин 1926: 116]; а также журналы: *Металлист*. 1912. № 9 (26 января). С. 13; *Металлист*. 1912. № 10 от 11.02. С. 4–5; *Жизнь пекарей*. 1914. № 2 (5) (10 сентября). С. 11.

⁴⁰ Выражение из статьи Ивана Кубикова «Трагедия рабочей интеллигенции» (*Рабочая мысль*. 1917. № 1 (25 августа)). См. также главу 2 и главу 3 данной книги.

⁴¹ См. главу 4 в [Frank, Steinberg 1994], а также [Engelstein 1992; Steinberg 1992:56–61].

⁴² См. М. Горький. Предисловие к «Первому сборнику пролетарских писателей», изданному в Санкт-Петербурге в 1914 году. О рабочих писателях Западной Европы см. статью М. Вичиниус в [Dyos 1973: 739–761], а также [Vicinius 1973].

рабочих, но и та сильнейшая потребность в творческом самовыражении, которая их охватила. Некоторые авторы из народа, конечно, рассматривали свои творческие опыты как случайные и временные. Другие, и среди них те, кто обращались к Горькому, всерьез пытались стать писателями, но им не хватало таланта или упорства, чтобы привлечь более широкую аудиторию, чем горстка читателей и слушателей. Однако многие представители народа писали так упорно и талантливо, что обратили на себя внимание издателей, и это мотивировало их совершенствоваться и писать как можно более регулярно. Если оценивать эти тексты в свете современных представлений о технике и форме, то их художественные достоинства невелики. Даже сочувственно настроенный критик-марксист указывал, что опусы рабочих, опубликованные в те годы, отличаются «детской наивностью» в отношении стиля и вряд ли заслуживают более высокой оценки, чем «рифмованная проза» или «вирши» [Львов-Рогачевский 1927: 5, 25–27]. Тем не менее эти сочинения свидетельствуют об огромной потребности в самовыражении, сыгравшей ключевую роль в появлении «интеллигенции из народа». И эти сочинения, как правило, несут большой заряд сложных идей и эмоций.

Несмотря на то, что многие представители образованной элиты восхищались столь незаурядными крестьянами и рабочими и пытались им помочь, часто между этими двумя социальными группами возникали отчуждение и недоверие, как отмечают историки рабочего движения в России. После 1905 года наблюдался рост числа организаций самых разных типов, но вместе с тем чувствовалась и растерянность, вызванная провалом политического радикализма и идеологическими разногласиями в образованной среде. Хотя интеллигенты из рабочих и образованные элиты продолжали взаимодействовать в различных организациях и группировках, прежде всего партийных и журнальных, чаще рабочие предпочитали вступать в свои собственные организации, если вообще принимали участие в каких-либо организациях. Как отмечал Клейнборт, сам марксист, в рабочих союзах, кооперативах и культурных объединениях интеллигенты из рабочих оттесняли собственно интеллигенцию на периферию, так как стремились взять управление в свои руки [Клейнборт 1923: 193].

Такой же подход преобладал во взглядах рабочих на сущность и способ формирования рабочей интеллигенции в России⁴³. Рабочие отвергали образовательные организации, создаваемые и руководимые элитой для просвещения простого народа, и полагали, что только рабочие «общества самообразования» способны воспитать в рабочих «широту взглядов» и «самодетельность», в которых они нуждаются, и будут способствовать рождению столь необходимой «рабочей интеллигенции»⁴⁴. По мнению рабочего-публициста, меньшевика Ивана Дементьева, рабочая интеллигенция возникла в «могильной тишине» в первые годы XX века, но быстро выросла после 1905 года, так как союзы, клубы и другие рабочие организации готовили сознательных рабочих. В результате, продолжает он, накануне войны «думающие и развитые рабочие» стали обычным явлением в рабочей среде. И хотя их число оставалось по-прежнему небольшим, роль их была огромна, потому что только они по-настоящему защищали право рабочих на самоорганизацию и служили подлинными выразителями лучших идей, чувств, исторической памяти, присущих рабочим⁴⁵. Немарксистские члены Суриковского литературно-музыкального кружка, созданного в 1903 году в Москве «писателями из народа», придерживались той же политики обособления, хотя выражали их иным, более народническим языком. Целью кружка, как провозглашалось в 1915 году, являлось «объединение народной интеллигенции», то есть той интеллигенции, которая возникла «из глубины народной жизни», но не благодаря просветительской работе элиты, ходившей в народ, а только бла-

⁴³ См. обзор публикаций на эту тему в рабочей прессе в [Клейнборт 1923: 175–179].

⁴⁴ Профессиональный вестник. 1909. № 25. 18 августа. С. 37.

⁴⁵ См. статью «Рабочая культура» Квадрата, то есть Ивана Дементьева, более известного под другим псевдонимом – Кубиков, опубликованную в газете «Луч» (1913. № 129 (7 января). С. 2).

годаря стремлению самого народа, «силою своего духа»⁴⁶. Помощник пекаря Михаил Савин – поэт, активист московского профсоюза булочников, в 1906 году редактор профсоюзной газеты «Булочник», а в 1913 году редактор «народного журнала» «Балалайка», член Суриковского кружка – в 1915 году выразил это мнение еще более резко в очерке о народной интеллигенции. Кто, вопрошал он, способен принести свет в «темные массы» народа? Только тот, кто знает жизнь народа. «Это видно, что болеть болезнями народа, плакать его слезами, а также радоваться его радостями – могут только люди, переживавшие все прелести бесправной жизни»⁴⁷. Точно так же в 1917 году редакторы газеты с меньшевистским уклоном «Рабочая мысль» характеризовали рабочую интеллигенцию как «носителя классовых чувств» рабочих, а также как подлинного выразителя «сознательности» рабочего класса⁴⁸.

Акцент на высокую сознательность и глубокое социально-классовое чувство был связан с принятым в русской культуре представлением о том, что такое интеллигенция. Начиная с 1917 года это понятие обрело дурную славу, поскольку относилось к дискредитированной либеральной буржуазии, и стало означать род занятий и уровень образования; интеллигенция отныне была связана не с социальной стратой, а преимущественно с культурными, нравственными и политическими взглядами. Этим словом обозначались не просто люди, имевшие хорошее образование или определенную профессию, но люди любого класса (хотя последнее оспаривалось), которые осознают свою интеллектуальную и нравственную ответственность и полагают знание той силой, которая освобождает человека из-под власти среды, принижающей его природное достоинство и права. По поводу того, какие конкретно качества ума и характера дают право на звание «интеллигента», велись бесконечные споры – и эта полемичность сама по себе входит в определение интеллигенции⁴⁹. Понятия «рабочая интеллигенция», или «интеллигенция из народа», трактовались аналогичным образом: «народная интеллигенция – это та часть трудящегося населения, которая живет сознательной жизнью, ищет правды и духовной красоты в миру» и «работает на благо родного народа и всего человечества» [Шведская 1915:16; Логинов 1912:2]. Похожие определения давались и родственной категории «народные писатели», в них отражалась также свойственная XIX веку идеализация роли и личности писателя. По мнению рабочего писателя Николая Ляшко (Н. Николаев), народный писатель не просто писатель для народа или даже из народа, но писатель, который движим чувством долга и жизненным опытом, который «показал бы нам душу народа, оживил бы его смутные мечты, духовно взял бы на свои плечи все тяготы его». Человек не может сам себя назначить народным писателем. Народным писателем можно стать только по решению народа, если народ «чувствует в его творениях себя, свою душу» [Ляшко 1913: 26].

⁴⁶ См.: Друг народа. 1915. № 1. 1 янв. С. 1; [Кубиков 1917: 4–7].

⁴⁷ См.: Друг народа. 1915. № 5–7. Судя по инициалам автора заметки (М. С.) и по высказанным идеям, я полагаю, что за ними скрывается Савин.

⁴⁸ См. статью «От редакции» в газете «Рабочая мысль» (1917. № 1. 25 августа. С. 1–2). Иван Дементьев (Кубиков) был одной из ведущих фигур в этой газете. См. также его статью «Трагедия рабочей интеллигенции» в том же выпуске «Рабочей мысли» (С. 4–7) и обращение к читателям «Рабочей мысли» от 12 ноября 1917 года (С. 2).

⁴⁹ О предпринимавшихся попытках дать определение интеллигенции см. [Иванов-Разумник 1914: гл. 1].

Построение народной культуры

Очевидно, что появление в позднеимперской России довольно значительного числа людей из представителей низших классов, которые обладали образованием, уверенностью в себе и личной свободой, чтобы оформиться в категорию, которую наблюдатели назовут новой «интеллигенцией из народа», зависело не только от «силы их собственного духа». Возможность их появления была обусловлена рядом социальных и культурных изменений к лучшему в обществе, помимо распространения грамотности и образования среди широких масс населения. Не меньшее значение имело расширение публичной сферы, в которой идеи могли рождаться, выражаться, передаваться, а люди со схожим образом мыслей могли находить друг друга и объединяться. Многие из этих улучшений проводились сверху, по инициативе сочувствующей или обеспокоенной положением дел элиты, и при всей половинчатости и манипулятивности проводимых мер они все же помогали простым людям задуматься о своей жизни и даже изменить ее. Параллельно этому непрерывно развивались возможности и навыки самоорганизации.

Рост городов и индустриализация увеличивали озабоченность государства и общества культурным и нравственным уровнем простого народа, что порождало различные проекты воспитания и обучения масс с целью повышения их культурного уровня. Многие образованные представители элиты (в том числе социалисты и профсоюзные лидеры), побуждаемые либо страхом перед «темными низами», либо намерением нести просвещение как необходимое благо, либо обоими мотивами сразу, присоединились к попыткам государства и церкви цивилизовать народную среду, особенно быстро растущую среду городских рабочих, привнести в нее то, что считалось основами «культуры». Культура в ту пору понималась и в России, и в Европе не как открытая система, в которой конструируются смыслы, но как некий абсолютный кодекс знаний, идей, норм поведения, куда входят, помимо прочего, трезвость, разумность, самоуважение, чувство общности, признание роли образования. Это движение, получившее в России название «культурничество» или «культуртрегерство» (от немецкого слова «культуртрегер» – человек, который несет культуру), принимало самые разные формы, среди которых и обучение взрослых, и создание обществ трезвости, и борьба за качество отдыха, и издание книг для народа. Все эти начинания глубоко затрагивали жизнь простых людей, особенно зарождающейся рабочей интеллигенции⁵⁰.

С точки зрения рабочих, стремившихся к саморазвитию, эти культуртрегерские меры помогали им дополнить начальное образование, полученное в детстве, открывали новый доступ к знаниям и культуре. Количество подобных мотивированных рабочих впечатляло. Один из педагогов, выражая мнение многих, говорил, что у народа есть великая жажда знаний, и отмечал с восхищением (и некоторой снисходительностью) то, что взрослые люди, приходя учиться на курсы, на вопрос, что они хотят узнать, отвечают «все знать хочу» [Зимин 1913:49–50]. Профсоюзные лидеры также находились под впечатлением: «переживаемое теперь рабочими стремление к знанию, – писал профсоюзный активист в 1907 году, – напоминает подобное же явление в середине 90-х годов, когда первое массовое пробуждение рабочего класса толкало его не только к борьбе за лучшие условия труда, но и к свету знания». Но, продолжал он, разница между тем временем и нынешним «громадная». Тогда речь шла о сотнях и тысячах рабочих, а сейчас о сотнях тысяч. Тогда умственные запросы были «элементарнее», а руководящей силой была почти исключительно интеллигенция, теперь же «движение исходит от рабочих, ими направляется и определяется» [Д. 1907:1]⁵¹

⁵⁰ Характеристика культурнического движения приводится в [Frank 1999: 317–322; Brooks 1985: 317–22; Neuberger 1993: 7–8; Clowes et al. 1991:141–147; Kelly 1998:57–81].

⁵¹ Я предполагаю, что автором статьи мог быть Дмитрий Кольцов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.